

Игорь
Гергенрёдер

Донесённое от обиженных

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Игорь Гергенрёдер
Донесённое от обиженных

«ЛитРес: Самиздат»

2003

Гергенрёдер И. А.

Донесённое от обиженных / И. А. Гергенрёдер — «ЛитРес: Самиздат», 2003

Роман «Донесённое от обиженных» построен на конфликте российского общества, в котором с последней трети XIX века обострялся русский национализм. Недовольство преобладанием немцев, которое, как показано в романе, имело место, лишь усиливалось. Над русской средой тяготела обида из-за болезненного вопроса: кому роднее родина и кто родине роднее? В конце концов, обиженным удалось втянуть Россию в войну с Германией. Благодаря войне, как и рассчитывали русские националисты, удалось свергнуть немецкую династию фон Гольштейн-Готторпов, правившую с 1762 года Российской империей под фамилией вымерших Романовых. В феврале 1917 года с немецким преобладанием было покончено – а что стало с Россией? Сбылись ли чаяния обиженных? Содержит нецензурную брань.

Содержание

1	6
2	8
3	11
4	14
5	17
6	20
7	23
8	26
9	29
10	31
11	33
12	35
13	38
14	42
15	45
16	47
17	48
18	51
19	53
20	56
21	60
22	63
23	65
24	69
25	72
26	74
27	76
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Немало россиян, по данным опросов, желало бы возвращения монархии. О ней охотно и подробно пишут – обходя, впрочем, одно обстоятельство. С 1762 Россией правила германская династия фон Гольштейн-Готторпов, присвоив фамилию вымерших Романовых. Государь-голиштинцы явили такую благосклонность к немцам, которая не оставляет сомнений в том, кто были желанные, любимые дети монархии. Почему Ермолов и ответил Александру I, просившему, какой он хотел бы награды: «Произведите меня в немцы!» В 1914, в начале Первой мировой войны, из шестнадцати командующих русскими армиями семеро имели немецкие фамилии и один – голландскую. Четверть русского офицерства составляли одни только остзейские (прибалтийские) немцы. (1)

Затрагивая эту тему, автор (2) обращается ко времени Гражданской войны, считая, что её пролог – крах монархии – имел национально-освободительную подоплёку.

1

Вьюжным и холодным мартовским утром в Оренбург прибыл московский поезд. С площадки спального вагона бодро соскочил на перрон свежесбритый журналист из столицы Юрий Вакер и тут же повернулся боком к ветру, что ошпарил лицо, швырнув в глаза снежную крупу. По представлениям того времени (середины тридцатых), москвич был шикарно одет: кожаный реглан, дорогие новёхонькие сапоги, серые замшевые перчатки.

Он ступил на привокзальную площадь, на которой буран намёл извилистые сугробы – их хрустко переезжали сани, запряжённые лошадьми с шорами на глазах; люди с тюками, с мешками спешили туда и сюда, поскальзываясь и стараясь не упасть, не уронить поклажу; таксомотора нигде не замечалось. Вакер пошарил взглядом, засёк фигуру милиционера и, подойдя уверенной, решительной походкой, дружески, с оттенком властности спросил, далеко ли НКВД? Оказалось, близко. Милиционер объяснил, как пройти.

Перед зданием горчичного цвета дворники ретиво двигали лопатами, очищая панель от сыплющего снега. Укрываясь под навесом крыльца, подняв воротник, топтался часовой с винтовкой, с револьвером в кобуре. Выслушав Вакера, вызвал дежурного; тот поглядел в служебное удостоверение приезжего:

– Было предупреждение о вас. Можете проходить.

Москвич проследовал за дежурным через сумрачно-торжественный чисто вымытый вестибюль и оказался в коридоре. Чекист показал в его конец:

– Там наша столовая – начальник туда подойдёт.

Раздатчица в белом фартуке наливала половником суп в бидончик: его ожидал старик, на котором Вакер невольно задержал оторопелый взгляд. Как попала сюда эта ветхая фигура? Старец был одет в здорово поношенную, но ещё целую солдатскую шинель, имел распушившиеся какие-то пегие, с жёлто-зелёным отливом усы, глаза едва виднелись из-под нависших век. Женщина отрезала хлеба от буханки, положила на ломоть рубленую котлету.

– Ну, дедуха, проживёшь сегодня? Давай иди! – и с улыбкой как бы извинения за свою щедрость обратилась к Вакеру, новому и, по-видимому, влиятельному человеку: – Приютился, подкармливаем. Чего он может? А старательный! Стараются посильно помогать...

Журналист подумал: спросить её, чем способен помогать НКВД измождённый жизнью древний дед? Но тут коридор наполнился шумом шагов: в столовую направлялись сотрудники. Приезжий, поставив на пол чемоданчик, не без волнения смотрел на входивших и вдруг вытянул руки:

– Кого я вижу! – не удержался, шагнул навстречу мужчине, постриженному под бокс: по сторонам головы и с затылка волосы сняты, а от лба до макушки оставлена «щётка».

Мужчину выделяли густые тёмные брови, сходявшиеся разлаписто и властно, начальственно-требовательное выражение и та отработанность в поступи, в осанке, что выдаёт физкультурников. Он взял гостя за предплечья, тем избежав объятий, подержал с полминуты, затем пожал руку:

– С прибытием, Юра! Хорошо ехал? – не слушая ответа, повёл к столику. – А мы здесь с ночи... – окинул взглядом сотрудников, что рассаживались за другие столы, – хлопот невпроворот!

Марат Житоров возглавлял управление НКВД по Оренбуржью. С Юрием подружились лет десять назад в Москве. Тот учился во Всесоюзном коммунистическом институте журналистики, а Житоров был студентом-правоведом. Того и другого выбрали в районный комитет комсомола, и они развили активность, проверяя быт в студенческих общежитиях. Некоторое время оба ухаживали за девушками-подругами, жившими в одной комнате.

Происходя из революционной семьи, Марат, загораясь, рассказывал о своём отце-комиссаре, что погиб героем в Оренбуржье весной восемнадцатого. Рассказы запалили в сердце честолюбивого Юрия мечту написать об этом человеке яркий роман. Гибель комиссара, помимо своей романтичности, захватывала тем, что погубители не были найдены... Житорова снедало стремление распутать загадку. Служа в столице и имея успехи, он упрямо добивался назначения в Оренбург. И вот он здесь более полугода. Всё его существо до кончиков ногтей давно предалось идее, что об отце должен быть создан роман. Вероятный автор, дождавшись от друга позволения приехать, выхлопотал у редактора командировку: собрать материал о расцвете колхозной жизни в бывших казачьих станицах. В настоящий момент журналисту не терпелось узнать, что нового раскопал Житоров и насколько оно ценно для романа.

– Не хочу опережать тебя вопросами, Марат, я и без того злоупотребляю, но уверен – ты сознаёшь, что не личный интерес, а цель иного уровня... – произносил гость значительно и проникновенно, стараясь показать другу глубину уважения.

– Знаю я тебя, хитреца! И болтуна! – прервал Житоров без усмешки. – Тебе шницель с пюре или с макаронами? – и кинул подходившей официантке: – Два с пюре!

Юрий, точно за чем-то особо важным, следил, как он откупоривает бутылку нарзана. Наполняя стаканы, Житоров веско, с угрюмым огнём говорил:

– Я убеждён, и не может быть сомнений: мне удалось накрыть его! Он должен был видеть смерть отца... Свидетель (я добыю!) прижмёт его к стенке. Еду за свидетелем. Ты со мной?

Гостя встряхнуло – только и смог выдохнуть:

– Марат...

2

Житоров считал: если он явится лично к свидетелю, тот не сможет замкнуться и «размотается до голой шпильки». Кроме того, сыну не терпелось попасть в те места, в ту обстановку, где витала тень неотмщённого отца.

Ехали поездом до Соль-Илецка: начальник, три сотрудника и Вакер. Журналист, стараясь скрыть гордость, рассказывал: на него, командированного в далёкое таёжное село, совершили покушение – стреляли дважды.

– Пули вот тут пролетели! – он прочертил ладонью воздух у головы. – Почему и нашему брату положено оружие. – Достал из внутреннего кармана пальто так называемый пистолет Коровина, калибра 6,35 мм.

Житоров снисходительно, с иронией сказал:

– Хорошая штука! В мужика с топором стрельнёшь – он, конечно, свалится... но до этого успеет тебе черепок раскроить. Легковатый калибр!

Переночевав в соль-илецкой гостинице, дальше отправились на автомашинах: начальник с сотрудником и журналистом уехали в принадлежащую горсовету эмку. Другие чекисты и пара местных милиционеров покатали в автофургоне, его закрытый металлический кузов имел единственное (с решёткой) окошечко в двери в торце: известный «чёрный ворон» был окрашен в густой синий цвет. Эмка следовала впереди по сырой, тёмной по-весеннему дороге, в кабину проникал душок навоза, что за долгую зиму выстлал просёлок.

Солнце заслонял сплошняк низких облаков, завеса тумана не давала видеть дальше полукилометра; по сторонам однообразно белела снежная целина. Потянул ветерок, погнал туман: вблизи обозначилось мутное пятно деревни. Житоров взглянул на командирские наручные часы:

– Новоотрадное – бывшая станица Ветлянская.

* * *

...В Ветлянской в восемнадцатом рабочий отряд оставил гнетуще-живучую память. Отрядники вступили в станицу перед полуднем; солнце набирало силу, съедало снега в полях, орудийные колёса оставляли на раскисшей дороге глубокие рытвины. Красногвардейцам щекотал ноздри смешанный мирный запах кизячного дыма и печёного хлеба.

На околице, противоположной той, через которую проходили красные, раскинулся по взгорью двор казака Кокшарова. Хозяин, взобравшись на хлев, поправлял кровлю и сверху увидел отряд. Крутнул головой, позвал тревожно:

– Славка, идут хлеб отбирать! Скачи к хорунжему!

Паренёк лет четырнадцати с утра ездил на хутор к отцовскому куму и ещё не успел расседлать лошадку. Провёл её задами усадьбы за юр, вскочил в седло. Мосластый маштачок бойкой рысью вынес на зимник, что пролёг под лесистым кряжем по скованной льдом речке.

А отряд вытянулся во всю улицу, единственную в станице. Перед большой избой, крытой жостью, встала группа верховых. Хозяйка загнала в конуру остервенело лающего волкодава, хозяин расхлебенил тяжёлые гладкотёсанные ворота.

Верховые спешили. Первым поднялся на крыльцо человек в белой смушковой папахе. На нём серая солдатская шинель, но притом – превосходные галифе оленьей кожи. Окинув взглядом просторную сенную комнату, не удостоив словом кланяющегося хозяина, шагнул в горницу. Изба была из тех, какие называют пятистенками: её разделяла на две половины капитальная стена.

Над крыльцом к резным столбам прибили углы алого полотнища, по нему надпись чёрным: «Чем тяжелее гнёт произвола, тем ужасней грядущая месть».

Незадолго до этого дня из станицы изгнали рабочих-дружинников, приехавших изымать «излишки зерна». Несколько человек были зарублены. Дело удалось благодаря неожиданно появившейся группе офицеров. Теперь местный батрак водил красногвардейцев по станице, указывая дома казаков, которые прибились к офицерам и разоружали рабочую дружину.

Военный комиссар Житор, расположившись за столом в тёплой горнице пятистенки, приступил к дознанию. У Зиновия Силыча длинный заострённый подбородок, за углами тонкогубого рта изламываются пучки резких морщинок, подрубленные усики разделены выбритой ложбинкой от носа к верхней губе. По левую руку на столе – пачка большевических газет, листок из школьной тетради, подточенный карандаш, торчащий из ребристого латунного футлярчика. По правую руку лежит, тускло поблескивая воронёной сталью, револьвер.

Перед столом встал, вытянувшись, руки за спиной, только что приведённый молодой болезненного вида казак. Зиновий Силыч без интереса обронил:

– Шашка у тебя есть?

– Так точно!

– Но ты ею наших товарищей не сёк?

– Никак нет! – лоб казака едва приметно увлажнился.

Комиссар с улыбочкой едко взглянул на хозяина избы, замершего у порога горницы:

– Подойдите сюда. Как ваша фамилия?

Тот испуганно сказал, и Житор медленно записал фамилию на листке сверху. Станичник следил за процедурой, вытаращив глаза и приоткрыв рот.

– Он, – указывая карандашом на хозяина, адресовался комиссар к молодому, – рубил?

– Он? Не-е. Никак нет!

Зиновий Силыч, бросив пристально-цепкий взгляд на того и другого, отдельно проговорил:

– Покажете честность – советская власть вас простит. Станете упорствовать, а кто-то на вас укажет: «Рубил! Стрелял!» – расстреляем!

Хозяин поднял на комиссара глаза и тут же опустил.

– Видите, оно как, сударь-товарищ... на меня – может так выдти – могут сказать: рубил! А я не рубил ни в коем разе, у меня в руках шашки не было, я только стукнул...

– Топором?

– Упаси Бог! Палкой.

Тонкие губы Житора чуть покривились:

– С какой радости вы стукнули палкой обезоруженного, – сделав паузу, повысил голос, – взятого вашими под конвой человека?

Казак, потупившись, стоял недвижно.

– Да уж больно он заорал супротив души. Заелись, орёт, землёй, а мы её с иногородними разделим! А откуда же у меня лишняя земля, сударь-товарищ? У меня...

– Хватит! – перебил комиссар.

Лицо хозяина сморщилось, как от позыва чихнуть, он куснул с хрустом руку и вдруг прилёг грудью на стол, зашептал комиссару:

– Он не рубил... а как один ваш спрятался за кладку кизяка, он его нашёл и вывел. Решил, грит, с оружием чужое отнимать – умеи и ответить!

Молодой казак воскликнул изменившимся странно высоким голосом:

– Благодарствую, Федосеич! О-о-ох, спасибо! – и заперхал, в груди захрипело с присвистом.

Федосеич отошёл от стола, рухнул на колени и поклонился молодому, звучно приложившись лбом к полу:

– Прости-и! У меня дети, а ты один, у тя – чахотка, век твой всё одно...

Казак, вздрогнув, отклонился назад, словно размахиваясь верхом туловища, и яростно плюнул в застывшего на коленях. Комиссар брезгливо взмахнул рукой: красногвардейцы с винтовками вывели обоих.

3

Допрошенных отводили в угол двора к овчарне и оставляли там ждать под охраной пары дюжин отрядников, что грызли семечки и дымили козьими ножками. Вооружённые люди стояли с зудом готовности вокруг крыльца пятистенки, толпились в сенной комнате, куда долетал мерный, с неслабеющей лёгкой ехидцей голос комиссара. Вчерашний перронный носильщик Будюхин, будучи при нём за денщика (звался вестовым), позаботился, чтобы Зиновий Силыч, не прерывая допросов, поел вынуженного из печи супа с бараниной. Будюхин осторожно понёс и поставил на стол чашку круто заваренного чаю.

Перед Зиновием Силычем предстал заросший буйной бородой станичник: вполне примешь за пожилого, но выдают молодые глаза, гладкий чистый лоб. Его спросили: размахивал ли он шашкой лишь ради веселья души или, случаем, и порубливал безоружных? Он невыразительно буркнул:

– Ну.

– Признаётесь, что рубили насмерть наших товарищей?

– Ну!

Зиновий Силыч приостановил дыхание, чувствуя себя как бы в тупике; отхлебнул чаю, обжёгся и вскричал:

– Ну, хорошо! Ну, надо же и объяснить... – повторил за казаком «ну», не заметив этого. Было неуютно от ощущения некой недостаточности, что портила всё дело. Схватил газету, расправил: – Съезд советов, он проходил в Оренбурге, постановил... Слушайте! «Ввести на хлеб твёрдые цены, в кратчайший срок организовать при волостных советах продотряды, не останавливаться ни перед какими мерами для обеспечения хлебом трудящихся...»

Обескуражила мысль: кому он читает? Это же тупица, недоумок! Зиновий Силыч оставил газету и, положив правую руку на револьвер, проговорил с деланно равнодушной суровостью:

– Убью на месте...

Казак смотрел с холодным презрением, и комиссар закричал:

– Увести-и! Следующего!

Этот оказался таким же бородачом, а сложением так и покрепче. Житор, держа обеими руками газету, смерил его взглядом исподлобья.

– За нами вся рабоче-крестьянская Россия! В каждом номере печатается, что трудовое казачество тоже за нас. Сказано – читаю: «Казаки нескольких станиц собрались и решили добровольно сдать советской власти четыреста пудов...»

Станичник громко хмыкнул, обнажив белые здоровые зубы, бросил с упорно-глубокой ненавистью:

– Ваши газетки смердят!

Когда его вывели, заглянул батрак, пояснил:

– Очень регилиёзные! Окромя себя, никому из своей кружки воды не дадут – староверы.

Зиновий Силыч, люто злой, пил чай мелкими частыми глотками и молчал. Батрак сообщал:

– Самый-то богатей Кокшаров, известный враг, сбежал.

– Что-оо?! Давно-о?

– Люди грят: не боле, как недавно. В санях с бабой и с дочерями.

Комиссар бросился из горницы и стал жестоко, с обидными словечками разносить своих за то, что упустили беглеца. Бывший улан большевик Маракин заметил: полями сейчас не уехать; снег подтаял – лошади увязнут. А по дорогам у саней нынче ход нешибкий: пожалуй, можно догнать... Вскоре из станиц пустились наёмом три разъезда, из-под копыт летели ошмётки грязи и мокрого сбившегося в диски снега.

Зиновий Силыч, страстный чаёвник, предавался своей слабости, и когда бывал доволен, и когда злобился. Он успел напиться чаю, по выражению Будюхина, «до горла», как, вбежав, доложили – богатей настигнут. Житор сидел за столом обильно вспотевший, волосы стали словно мыльные. Помощники стояли, ожидая. Выдерживая их в положении молчаливого почтения, он принялся причёсываться: на волосах после гребня оставались влажные борозды.

– Поглядим его хозяйство! – Встал, вдел руки в рукава поданной Будюхиным шинели.

К прошлому урожаю Кокшаров поставил новый амбар взамен старого подгнившего. Пересекая двор, Житор посматривал на прочную постройку и нехорошо улыбался. Позади шёл хозяин, сопровождаемый отрядниками, что держали винтовки наперевес. Он вдруг забежал вперёд и встал в распахнутых дверях амбара – немолодой, в самотканых штанах, в изрядно поистертом нагольном полушубке. Комиссар посерьёзней, спрашивая:

– Всегда одеваетесь под бедняка?

– Одет, как привычен! Беднее других я не был, но и в богачи не вышел, – казак уведомил с кажушимся безразличием: – У меня пятьдесят две десятины земли.

Житор со звенящей злостью произнёс:

– Мало? А в средней полосе мужик при пяти десятинах – счастливец!

Кокшаров хотел ответить, но тут батрак, быстро толкнув его, проскочил в амбар, устремился к сусекам.

– Вот он – хлебушек отборный! И это не богатство?

Хозяин ринулся за ним, с размаху треснул кулаком по затылку, схватив за волосы, развернул к себе, сжал горло:

– Я тя, х...ету, сроду не нанимал! Что затрагиваешь?

Батрак выкрикнул во всю силу лёгких: – А-ааа! – и захрипел. Красные ударами прикладов свалили казака. Когда он поднялся с окровавленной головой, его схватили за плечи; комиссар указал на батрака, что уже жадно рылся в россыпи зерна:

– В первую очередь ему будет уделено от твоей земли!

Кокшаров вмиг выдрался из полушубка, оставив его в руках отрядников, протянул руки к лицу Житора, ухватил за ухо. Маракин, дюжий сноровистый кавалерист, взмахнул шашкой: лезвие рассекло локтевой сустав – казак вскинулся всем телом, стал заваливаться... Маракин рубнул вторично – рука ниже локтя отделилась, из культи густо ударила кровь.

Комиссар, прижимая ладонью едва не оторванное ухо, приказал перетянуть жгутом культю упавшего в беспамятстве. Один из красногвардейцев, трогая носком ботинка отсечённую руку, спросил:

– А это куда?

Зиновий Силыч повторил как бы в изумлении:

– Куда это? Родным отдать!

Жена Кокшарова сама не своя стояла во дворе у саней; с нею дочери – лет шестнадцати и лет десяти. Что произошло в амбаре – не видели. Батрак разгорячённо подбежал, протянул казачке синевато-серую отрубленную руку мужа, осклабился:

– Отпойте и упокойте!

Воздух резнули жуткий вопль и истошный детский плач.

Комиссар возвратился к пятистенке, где у овчарни ожидало восемнадцать приговорённых. Казак, на допросе не сказавший ничего, кроме «ну», и другой, белозубый, были посланы под охраной – приволочь Кокшарова. Они взяли его на руки и бережно принесли.

Житор зычно обратился к красногвардейцам:

– Исполним священный приговор над контр-р-революцией...

Через околицу гуськом потянулись фигуры, дальше начинался спуск в овражек. Кокшарова несли, он бормотал в бреду невнятицу и вдруг, на миг опомнившись, выговорил: – Хорун-

жий вам воздаст! – Обрубок руки перевязали плохо: на тающем снегу оставались буровато-пунцовые пятна.

Красногвардейцы шли оживлённой массой. Комиссару на пострадавшее ухо наложили повязку. Он ехал верхом, недоступно замкнувшийся в себе, – из-под сдвинутой набок папахи сверкал чистый туго охватывающий голову бинт.

От овражка донёлся нестройный залп: несильно, но отчётливо ответило эхо. Затем долетело стенание, нагнавшее на станицу нестерпимый ужас; стукнули негромкие выстрелы. Они раздавались ещё минут пять; жители исчезали с улицы.

4

Улица, когда стали видны приближающиеся эмка и «чёрный ворон», вымерла. Гости подкатили к избе, которую занимал местный уполномоченный милиции с семьёй. Увидев перед своими воротами столь высокое начальство, он затрясся мелкой дрожью; страх, что это его приехали арестовать, лишил способности что-либо делать. Приотворив створку ворот, уполномоченный выглядывал из-за неё не то с гримасой ужаса, не то с какой-то странно-лукавой ухмылкой. Марат Житоров всё понял:

– Мы проездом. В колхоз «Изобильный».

Восковое лицо хозяина порозовело, он открыл ворота во всю ширь, метнулся в сени, появился со сверкающим ножом в руке и опрометью понёсся в хлев. На оклики не среагировал. Тогда, по знаку Житорова, один из милиционеров побежал к хлеву и вытолкал оттуда уполномоченного. Тот застенчиво развёл руками, сжимая в одной нож:

– Барашка принять...

Ему сказали: недосуг! с собой прихвачено. В избе на обеденный стол выложили сыр, ветчину, балык. Хозяин, искательно и как бы смущённо наклоня торс, прижимая ладони одну к другой, предложил «слетать» за водкой. Житоров сурово отрезал:

– Мы на службе!

Вакер, любивший, особенно под вкусную закуску, пропустить стаканчик-другой, в душе посетовал на товарища. Тем не менее подстёгивающий подъём не спадал. Творческая натура Юрия живо переживала то, что, благодаря рассказам друга, он знал назубок: действия отряда в Ветлянской, выступление на станицу Изобильную... Марат Житоров, бывало, с настойчивостью повторял:

– Мягко был отец до слабости: только девятнадцать шлёпнул. Тогда как хозяйчиков, таких, что имели не менее трёх лошадей, считалось в станице более полста. Столько и нужно было расстрелять! Самую сволочь оставил. Пока возился с допросами, посыльный уже нашёл хорунжего... там и другие гады поспешили донести об отряде всё, что нужно. А мерзавец дремать не стал...

О хорунжем сохранились лишь сведения общего характера: дерзкий, решительный, жестокий... Марат Житоров спросил уполномоченного милиции, сколько лет тот живёт здесь?

– Шестой пошёл, товарищ начальник!

– Согласно установке, заводите с населением окольные разговоры о хорунжем?

Уполномоченный, стоя – руки по швам, – ответил утвердительно.

– И что же вы выявили?

– Человек громадного роста и силы! Сидя верхом, ударил пикой красного конника: пика попала в живот, пробила тело, пробила круп лошади и воткнулась в землю.

Житоров переглянулся с журналистом.

– Пахнет легендой.

У Житора-отца имелось более семисот бойцов, при четырёх трёхдюймовых пушках и дюжине станковых пулемётов. Отряд бодро выступил на станицу Изобильную и в одночасье был почти поголовно истреблён. Кто же он, сумевший собрать, сплотить и умно направить силу, что совершила это?

* * *

...Он водил по двору буланого большеголового жеребца, давая тому поостыть после прогулки. Жеребец был откормлен и выхолен так, что изжелта-серая, при чёрных гриве и «ремне» по хребту, шерсть отливала блестящим шёлком.

Хорунжий повернул голову на конский топот. У открытых ворот верховой осадил лошадь, и она, всхрапнув, вошла шагом, роняя клочья пены и распалённо вздымая бока. Наездник соскочил с седла на утоптаный осклизлый снег – хорунжий узнал Кокшарова-подростка.

– У нас в станице – войско с города!

Офицер не первый день ожидал подобной вести, уговаривал казаков: откликнемся на призыв Дутова! Все, кто способен носить оружие, к нему! Будет у него армия – будет и надежда отстоять край.

Хорунжий поспешил со Славкой Кокшаровым к станичному атаману: тот приказал ударить в колокол. Старообрядческая церковь, каменная, с узкими окнами, казалась под голубым, будто свежевывытым небом, выше, чем была на самом деле. Гонимые ветром молочные облачка на миг прятали солнце: золото креста дробилось, а ребро колокольни, когда слетала тень, взблескивало, точно вытесанное из сахара. Народ теснился, заняв всю площадь перед церковью. На стариках, на казаках средних лет – не шубы сплошь, на кое-ком, по весеннему времени, – дублёные поддёвки, стянутые на спине сборкой. Те, кто помоложе, вчерашние фронтовики, – в долгополых шинелях с разрезом до пояса. Стоит беспокойный прерывистый-мятушийся гул.

Принесли табурет. На него встал хорунжий в чёрном полушубке, при шашке с серебряным эфесом в сверкающих эмалью ножнах.

– Наша законная власть – атаман Александр Ильич Дутов! Он объявил права казаков неприкосновенными. А кто против – то не власть, а беззаконие! то – самозванцы, захватчики...

Станичники постарше поддерживали: сделать, мол, так, чтобы красные ужрались под завязку чужим хлебом и салом! и каждому уделить земли – по его росту. Над площадью понеслись крики:

– Даже этого не давать! В прорубь их!

К оратору упорно проталкивался казак лет тридцати, потребовал слова. Вспрыгнув на табурет, потряс кулаками:

– Две зимы я не знал домашнего печного тепла, а знал ужас и мерзость окоп! Моего друга Карпуху германский снаряд ахнул – аж кишки и всё, что внутри человека, повисло на остатке осины. Кто упас меня от такой же участи? Большевики! Они дали замирение. И чтобы я пошёл на них?! Чтобы, коли их побьют, офицеры опять послали меня под германские пушки?!

Из толпы выметнулось:

– Чистая правда!

– И трижды истина-а!

Израненный на войне Спирия Халин крикнул хорунжему:

– Вы всё толкуете про закон и порядок. А на ком извеку закон и порядок стояли? На царе. Дак царь отрёкся!

Молодёжь отозвалась слитным восторженным рёвом. Старшие не знали, что сказать, сняв шапки, крестились двуперстием. Сход лихорадило.

Подобное смущение умов отнюдь не являлось редкостью. В первые после Октября месяцы люди ещё не осознали всей серьёзности желания коммунистов – сделать из народа серую скотинку. Заводчики и фабриканты пока числились хозяевами своей собственности, магазины и рестораны приносили не одни хлопоты, но и доходец их владельцам. Славой красных было беспрюгрышное: «Штыки в землю и – по домам!»

* * *

Из Ветлянской прискакали двое ребят: красные ходят-де по домам, берут станичников под арест... что последовало затем, ребята не знали, умчавшись до расстрела арестованных.

На сообщение фронтовики Изобильной отвечали:

– Кто за собой знает грех – пусть скроется. А за кого-то чужую и свою кровь проливать – надоело!

Снова на табурет поднялся хорунжий, сорвал с себя папаху – густые, чёрные с сединой волосы распались на две половины.

– Завтра здесь встанут коммунисты – и с той минуты никто из вас не только своему двору, но и своей голове не будет хозяин...

После его речи опять ожесточился спор. Словно бурлил расплавленный металл. Затем он застыл. Станица приняла решение...

Хорунжий схватчиво расспрашивал ветлянских ребят об отряде. К сумеркам, оседлав буланого жеребца, выехал во главе разведки к Ветлянской.

5

За дорогой мог следить полевой караул красных, и хорунжий повёл разведку в обход, чтобы приблизиться к станице лесом. Прихватывал ночной мороз; парок от конских ноздрей, сносимый ветром назад, инеем оседал на гриве. Снег, прибитый дневной ростепелью, схватился леденистой плёнкой, она отсвечивала при луне, переливалась меловым текучим поблеском.

Впереди над лесом стояли ясные лучистые звёзды. В одном месте небо странно мерцало: то угасало, становясь тёмно-лиловым, то вновь озарялось слабым трепещущим светом, словно какая-то огромная птица, усаживаясь, махала крыльями.

Славка Кокшаров, встав на стременах, повернулся к хорунжему:

– Поеду вперёд... вдруг станицу жгут?

– Цыц! Не лезь в пекло вперёд старших!

Лошадей оставили в лесу с коноводом. Небо как услышало: набежали тучи, сея изморось, ночь стала глуше. Хорунжий, Славка Кокшаров и ещё несколько казаков направились в гору к околице. Что-то округло-большое затемнело впереди. Офицер то двигался, то замирал, держа Славку за руку. И всё-таки силуэт стога обозначился неожиданно, а ведь как раз у стога и мог поджидать полевой секрет. Хорунжий мысленно считал: пять, шесть... девять... когда, наконец, выкрикнул: «Руки вверх!»?

В следующую минуту из прорехи меж туч выблеснул край луны, и офицер, шагнув вперёд, загородил собой подростка. Тот протестующе рванулся, но хорунжий обеими руками удержал его, легонько ступил вперёд раз-другой, затем с решительным видом шагнул вправо, обходя залитый светом стог.

В станицу входили с огородов. На краю её, на пригорке, возникали багровые отблески, пламенели какие-то точки. Славка тонко вскрикнул и помчался туда, спутники бросились за ним. Обдало плотным духом гари. Там, где была усадьба Кокшаровых, тлели россыпи углей, большие груды их уже остыли. Ужасно, будто стоячий мертвец, торчала печная труба. Дом, хлев, амбар, гумно, баня – всё сожжено дотла.

Славка упал на усыпанный золой снег, вдруг вскинул голову – хорунжий наклонился и вовремя зажал ему рот, не дав вырваться отчаянному крику. Три казака держали бывшего паренька, пока он заморённо не успокоился:

– Хошь, чтобы красные тебе за твоё вытьё спасибо сказали? Они ска-а-жут...

Офицер вглядывался в избы станицы. Многие окна светились; там-сям отворялись двери – долетали голоса. Отрядники занялись выпивкой и не спешили укладываться.

– Пришли не воевать, а карать! Обстановку понимают правильно: знают, какие речи на наших сходах звучат, – отрывисто прошептал хорунжий.

Дозор был замечен только один: два всадника ехали по улице шагом. Хорунжий подал своим знак – залечь. Всадники, проехав мимо, спешили в поле: в темноте различились огоньки сигарок. Офицер приказал ползком убраться с пригорка. В лесу уловили дымок: наносило его со стороны, противоположной той, где находилась станица.

– На порубке кто-то есть!

Один из казаков спросил:

– А, случаем, красные?

Офицер бесстрастно ответил:

– Перережем!

Сев на лошадей, направились к месту, где лес был вырублен прошлым летом, но не вывезен по причине разившегося развала хозяйственной жизни. В последнее время избёнка лесорубов пустовала, но сейчас в ней топилась печка. Поглядев, не привязаны ли где кони? – раз-

ведчики, взяв на изготовку короткие казачьи винтовки, подбирались к избушке. Снег, рыхлый и игольчатый, гроздьями обрывался с сосновых лап. Хорунжий распахнул дверь – кто-то ойкнул внутри жалким голосом.

В печи, резко пощёлкивая, жгуче брызгая искрами, пылали сосновые чурки. К тёплой печной стенке притулилась скорчившаяся фигура. Хорунжий зажёл спичку – девушка в заячьей шубейке полуприкрыла лицо воротником.

– Танюша? – к ней бросился Славка.

Она схватила его руку, заплакала в голос.

Через несколько минут разведчики знали: Кокшаров-старший искалечен и, вместе с другими приговорёнными, убит. Его вдова и младшая дочь приютились у соседей. Забирая добро Кокшаровых, красные приказывали вдове и дочерям:

– Вынайте всё, что спрятано! Зазря сгорит.

Заставляли сыпать муку в мешки, увязывать в узлы одежду – в чужие руки. Меньшая Кокшарова, Мариша девяти лет, не хотела отдавать свои новые валенки. Их отняли: протянула руки – хлестнула нагайка, на обеих рассекла кожу. Девочка, от боли немо открыв рот, завертелась на месте юлой. Мать закричала:

– Разбой! Спаси-и-те!

Свист плети – на лицо казачки лёг рубец, из него тут же выступила кровь, кровью залило глазную впадину.

– О-ой, гла-аз!! – Мать прижала руки к лицу, её наотмашь ударили прикладом в поясницу: женщина свалилась мешком на снег. Красногвардеец улыбнулся:

– Ну чо, ещё не отпустила ты жадность, кулачиха? – и затем замахнулся плёткой на Таню.

Другой занёс штык для удара:

– Приколоть сучку!

Вспоминая, Таня вздёргивала головой. Звучные горестные всхлипы. По пунцовому лицу – слёзы ручьями. Разведчики слушали её рассказ в тяжести внимания.

– Велели мне складать тёплую одежду в ихний воз. Я наклонись, а один меня обнял, а другой сзади прихватывает. Я – кричать, а они хохочут, излапали меня всю. Идёт комиссар ихний, на самого-то на охальника как топнет ногой: «Снасильничаешь – так под расстрел!» – и кажет на револьвер у себя на боку.

Ушёл, а мне велят вести нашего быка на двор к Ердугиным, к бедноте. А там военных полна изба, гуся жарят – салом несёт на весь двор. Меня обступили – не вырвешься. Ведут в избу: «Покушай с нами. Ты за папашу не виновна, ты – хорошая!» Втолкали за стол, силком суют мне в рот блины, а у меня ком в горле и ком.

Один grit: «Мы теперь будем справлять наш вечер, а ты сидишь с нами немытая. Баня-то давно топится. Поди вымойся!» Повели – как вырваться? В бане меня насильно раздевать – я биться... а они: ты чо испугалась? слышала, комиссар сказал: кто насильно нарушит – того под расстрел? А нам жить не надоело. Иди и мойся без страха!

Взошла в баню, а там такой жар-пар – кожа заживо слезет. Я скорей помылась, хочу выйти, а они не пускают. Стучу, кричу – нет! В глазах темно, уж я как взмолилась: «Умираю!» Выпустили в предбанник, и там один голый меня обнял. Я: «А комиссар говорил...» А они мне: комиссар говорил – нельзя насильничать, а ты ж сама... «Чего – я сама?!» Стала биться, а они: «Ну, и иди назад в баню!» Затолкали в парилку, заперли. Там я от паров стала без памяти. Как опомнилась, открыла глаза – лежу на лавке, и надо мной охальничают... – Татьяна спрятала лицо в воротник.

Хорунжий спросил:

– Сбежала как?

– Встало у меня сердце. Они меня отливали холодной водой, потом гряд: «Сделаем отдых». Ушли в избу, а я оделась да в лес. Лучше, мол, помереть в лесу! После вспомнила про эту избу... добрые люди здесь спички припасли, дрова...

Славка страдальчески вздохнул:

– Эх, Танька, был бы отец жив, излупцевал бы ты вожжами!

Татьяна ещё сильнее съёжилась, зарыдала. Хорунжий рассерженно приструнил под-
ростка:

– Ну что ты мелешь?!

6

Один из казаков, поймав звук снаружи, скользнул к двери. Донёлся голос:

– Я здесь сторож, товарищи!

– Зайди!

Сполохи пламени от печи озарили вошедшего. Разведчики узнали жителя Ветлянской Гаврилу Губанова по прозванию Губка. Он был крепкий середнячок, держал около ста овец. Щурясь, присмотрелся, обнажил голову, перекрестился:

– Прошу прощения, земляки! Поостерёлся – сказал «товарищи». А я было к вам поехал, в Изобильную. Уж у нас творятся дела-аа...

Приблизился к Славке, обнял, прижал его голову к груди. Жалостливо, но торопливо и не глядя на неё, погладил по спине ёжащуюся Таню. Поздоровавшись за руку с казаками, присев на корточки у печного устья, стал рассказывать...

Добавим подробности из поздних рассказов и других очевидцев, чтобы картина представилась полнее.

К комиссару привели священника-старообрядца. Житор сидел в избе за столом:

– Вы клевете на советскую власть, подогреваете настроения... сознаёте, что я должен вас расстрелять?

Священник отвечал:

– На всё воля Божья.

– Божья? А почему вы сами идёте против заповедей? Ведь сказано, что всякая власть – от Бога и кесарю отдай кесарево!

– Добытый крестьянином хлеб насущный принадлежит не кесарю, а взрастившему хлеб труженику. И второе: нигде не сказано – отдай разбойнику то, на что он позарился.

Священника свели к реке. Житор шёл поодаль, сцепив за спиной пятерни и поигрывая пальцами. Обогнул прорубь, носком сапога сшиб в неё льдинку.

– Освежите гражданина попа! Пусть согласится объявить, что все духовные лица и он сам – шарлатаны!

Заготтали, содрали со священника шубу, кто-то ребром ладони рубнул его по шее, заломили ему за спину руки – головой сунули в прорубь. Когда он, стоя на коленях на льду, отдышался, комиссар насмешливо воскликнул:

– Объявите, гражданин освежённый?

Священник набрал воздуха широкой грудью – плюнул. Его стукнули дулом карабина в затылок и принялись окунать головой в ледяную воду раз за разом. Житор считал:

– Три, четыре... довольно! Ну, так как, весёлый гражданин Плевакин?

Священник тяжело сел на лёд, опёрся руками; с волос, с бороды стекала вода. Беззвучно прошептал молитву, привстал – плюнул опять.

Комиссар молчал с выражением скрупулёзного внимания. Красногвардейцы вокруг, чутко наострившись, молчали тоже. Наконец Житор ласково, сладострастно подрагивающим голосом произнёс:

– Для тебя ничего не жалко... весенней свежести не жалко...

Опустили человека головой в прорубь семь раз. Лицо сделалось сизым, почернели губы. Глаза выпучились и, мутные, застыли. Будто одеревеневший, священник опрокинулся навзничь. Житор распорядился:

– Оставьте так! Его домой унесут – и пусть. Отлежится – тогда и расстреляем.

* * *

Хозяев стало не слышно в домах, накрытых, как мраком, цепенящей угрозой. Гостей это сладко возбуждало. Ужиная в избе Тятиных, красные поглядывали на молодую хозяйку. Слесарь оренбургских железнодорожных мастерских Федорученков, отправив в рот кусок жирного варёного мяса и отирая пальцы о пышные, концами вниз, усы, вкрадчиво сказал:

– Вот что нам известно, милая. Мужёнок твой – в банде Дутова.

Ермил Тятин, старший урядник, в самом деле был дутовец, отступил с атаманом к Верхнеуральску. Казачка вскинулась в испуге:

– Что вы говорите такое?! Муж в плену у австрийцев, должен скоро вернуться.

Федорученков зачерпнул из деревянной миски ложку густой сметаны, проглотил с удовольствием.

– А как жас созову местную бедноту – и будешь ты уличена! Хошь?

Молодая покраснела. Федорученков со вздохом обратился к двоим товарищам:

– Не уважите женщину – в ту половину не перейдёте?

Двое, восхищённые его манерой действовать, в которой они ещё с ним не сровнялись, охотно исполнили просьбу. Он задёрнул цветную занавеску, похлопывая набитое брюшко, распоясаясь, спустил солдатские шаровары.

– У нас насильников стреляют на месте, без суда! Но против доброго согласия, против свободной любви революция не идёт! – Облапив, повёл к кровати молчащую смирную казачку.

То же делалось и в других домах. Артиллеристы со своим командиром Нефёдом Ходаковым стояли у деда Мишарина. Поев, выпив, начали приставать к двум его дородным снохам – их мужья накануне ушли к Дутову. Изба полна малых детей – мешают. Артиллеристы загнали детей в свиной хлев: ещё сегодня в нём похрюкивал боров...

– Чего тёплому сараю пустовать? – шутили, запирая плачущих ребятишек, отрядники.

В избе затеялись игры. Пьяно рыгнув, Ходаков, кряжистый толстоногий детина более шести с половиной пудов весом, вскричал: кто не верит, что он одну, а за нею вторую казачку на себе пронесёт вдоль горницы туда и обратно, вынесет наружу и воротится назад?

С ним вызвались спорить. Для интересности Нефёд разнагишался, оставшись лишь в сапогах. Раздели догола и визжащих казачек. Могучий артиллерист склонился – белотелую бабу, крупную, сдобную, понудили усестся на него, обжать торс ляжками.

Проделал он с одной, как обещал, затем – с другой и тут от надрыва задохся, прилёг на лавку, три часа не мог оклематься. Без него на кроватях вгоняли казачек в жгучую испарину.

А у Колтышовых молодка притворилась, будто ей в радость ухаживания красных, перебирает стройными ножками – сейчас в пляс пустится... сама к двери ближе-ближе... Кинулась – и убежала. Тогда красногвардейцы принялись было донимать свекровь – но уж больно стара. И решили на ней по-иному отыграться.

– А ну, старая карга, сними чёрный платок! Этим трауром на нас погибель накликаешь?

Старуха упрямо не снимала, яростно плевалась, и Цыплёнков, вчерашний промывальщик паровозов, выхватил из печки головню – поджёт конец платка. В ужасе бабка сорвала его – к буйной радости красных:

– Распустила свои космы, старая развратница!

– Вид делала, что не хочет, а сама только и думает, чем прельстить, ха-ха-ха-аа!!

Старик, бессильный (больше года, как не встаёт), взялся проклинать нехристей. Голос у него оказался неожиданно громким и притом скрипучим. Красногвардейцы выбросили лежащего на двор, а чтобы оттуда не доносились его проклятия, накрыли старика деревянным корытом, в каком дают корм свиньям.

Брал отряд вволю радость от жизни. Сам Зиновий Силыч уединился с круглощёким мальчиком – младшим сыном зажиточного хозяина Цырулина. Папаша в тот день лишился всех своих десяти коров и овечьего стада – а мог бы расстаться и с жизнью...

Рассказывая то об одном, то о другом случае, Губка время от времени восклицал: «Что делается-то!» или: «И что теперь?» Люди в полутёмной избёнке не отвечали: думали о происходящем. Когда Губка совсем умолк, хорунжий подытожил:

– Знать, они завтра – на нас?

Губка слышал разговор комиссара с его конной разведкой; позже удалось подслушать, что говорили между собой артиллеристы. Поутру команда обозников повезёт в Соль-Илецк реквизированное зерно, погонит скот, а отряд выступит на Изобильную. На подходе к станции разделится на две колонны: одна двинется коротким путём, по зимнику; вторая пойдёт по летней дороге. Если казаки Изобильной вздумают сопротивляться – нападение противника с двух сторон должно будет ошеломить их.

7

Под янтарным плавящимся солнцем снег вдоль дороги подёрнулся бурым налётом. Красногвардейцы шли с ленцой. К отворотам шинелей приколоты алые банты, к картузам, к городским поддельного пыжика шапкам, к снятым с казаков папахам прихвачены ниткой вырезанные из жести или фанеры и обтянутые кумачовой материей звёзды.

Перед головой отряда открывался просторный дол. По его дну протянулась под углом к дороге замёрзшая речка, укрытая снегом, но намеченная полосами тальника и камышей. Дальше белел увал, подпирая серо-голубое небо.

От горизонта стали густо распространяться по белому чёрные точки. Их россыпь, широко захватывая увал, медленно сползала навстречу. Комиссар, сидя на старой спокойной кобыле, посмотрел вправо, на конного знаменосца. Тот приосанился, сжимая длинное древко с тяжело свисающим алым знаменем.

Ехавший верхом немного позади комиссара Будюхин, показывая вытянутой рукой вперёд, закричал громко, беспокойно:

– Каза-а-ки! На нас наступают!

По колонне загуляло:

– Казаки озверели! Первые лезут!

К Житору подскакал Ходаков:

– Разрешите остудить их? Враз накрою шрапнелью.

Зиновий Силыч повелительно махнул рукой:

– Давай!

Красные поспешно развернули орудия. Ходаков совался к прислуге, суетливо распоряжаясь, с похмелья трудно ворочая налитыми кровью глазами. Пушка, подпрыгнув, с хлёстким молниеносным ударом грома выметнула снаряд, за нею рывкнула другая.

– Недолёт! Заряжай!

Сизые облачка таяли над увалом. Масса чёрных точек стала рассеиваться. Комиссар, прижимавший к глазам окуляры бинокля, вдруг воскликнул:

– Почему – коровы?

Маракин, тоже смотревший в бинокль, пришпорил лошадь, понёсся, разбрызгивая талый снег, к Ходакову:

– По коровьему стаду лупишь, пушкарь х...ев!

Подъехал и Житор. Ему сказали: казаки перегоняют скот с зимовников в станицу. Значит, о том, чтобы биться, мысли нет. Зиновий Силыч, не показывая, что доволен, гневался: какая слава пойдёт об ошибке!.. накричал на командира артиллерии.

Отряд двинулся снова. Развеселясь, люди смаковали происшествие, состязались, фантазируя: а в другой раз-де Ходаков начнёт палить по скирдам в поле! по колодезным журавлям! по плетням с глиняными горшками, ха-ха-ха!.. Весенний ветерок всколыхивал красное знамя, за хвостом колонны поспешали стайки бойких воробьёв, проворно устремляясь на обронённые конские «яблоки».

Минуло четыре часа пополудни. Впереди, несколько справа, гребень раздваивала выемка: то начиналась седловина, где расположена станица Изобильная. К ней вилась, забирая вправо, летняя дорога. А напрямки спускался к замёрзшей речке зимник, пропадал в заросшей кустарником и деревьями приречной низине: так называемой урёме. К комиссару подъехал Маракин:

– Может, не терять время – не делить отряд? – и насмешливо выругался: – Какое там, к х...ям, вооружённое сопротивление...

Житор подумал.

– С военной точки зрения, охват – грамотнее! Пусть увидят в нас военных и зарубят себе на носу!

Ходаков, сидя на огромном коне-«батарейце», повёл три с лишним сотни стрелков, артиллерию, дроги со станковыми пулемётами более коротким путём: по зимнику. Полозья давили шипящую слякоть, под которой твердел толсто выросший за зиму лёд. Приблизившись к Изобильной, Ходаков должен был развернуть свою часть по косогору над седловиной и ждать подхода Житора.

Тот собирался послать отрядников на станицу цепями. Если казаки обнаглели бы и стали стрелять, Ходаков накрыл бы станицу шрапнелью, стрелки – ударили казакам во фланг. Без окопов, без батареи – что те могли?

* * *

...«Смогли – а всё остальное: семьдесят процентов неизвестности...» – Марат Житоров подрёмывал в легковой машине, катившей по мартовскому просёлку. Поля лежали тусклые, от поросших березняком холмов летел по сырым осевшим снегам тугой ветер, налитый терпковатым запахом обнажившейся палой листвы и валежника. Небо роилось, глухое, с тёмными клубами на бело-сером фоне. Скоро линию горизонта приподнимет возвышенность, машины проедут плотину через реку Илек, и покажется въезд в колхоз «Изобильный».

После гибели отряда Оренбург направил в Изобильную войска, не покупившись на людей и вооружение, но в бой вступать оказалось не с кем. Заняв станицу, красногвардейцы принялись арестовывать, в первую очередь, нестарых молодцов. Все они отвечали как один: оружия в руки не брали! были на гулянье в станице Буранной, праздновали день Святого Кирилла.

В Буранной установили как факт: там в самом деле угощалась и веселилась казачья сила Изобильной – и именно в день и час, когда истреблялся отряд Житора.

Несмотря на это, на площади принародно расстреляли станичного атамана с сыном, священника, мельника и полдюжины самых зажиточных станичников. Помимо того, был поставлен к стенке, после основательных измывательств, каждый седьмой житель в возрасте от девятинадцати до сорока пяти лет.

Однако оставалась неудовлетворённость: никто не признался и под пытками: да, мол, рубил, колот (или видел, как другие колят) отрядников Житора. Удалось лишь узнать, что руководил хорунжий Байбарин, местный житель; он потом с семьёй скрылся.

– А люди под его началом?

– Как я их мог видеть? Я был на гулянии в Буранной – тому полно свидетелей! – с этими словами отлетали на небо.

Следствие предположило: Дутов, державшийся северо-восточнее Верхнеуральска, послал в рейд своих казаков, и они, сделав дело, вернулись в степь... Разумеется, комиссары не успокоились, настроенные копать глубже, – но в конце мая полыхнуло выступление чехословаков, в июле Дутов без боя взял Оренбург: в Изобильной, как и окрест, провозгласилась белая власть.

Когда красные появились вновь, то застали одних баб, детей, стариков. Все, кто чувствовал в себе силы, ушли с белыми. Оренбургская ЧК возобновила расследование по гибели Житора с отрядом. Имея разведчиков при штабе Дутова, ЧК получала сведения: хорунжего Байбарина никто в штабе не знает! К чекистам попали документы белых. Среди многих фамилий не мелькнула ни разу фамилия «Байбарин». Почему белые столь непроницаемо засекретили свою удачную операцию в Изобильной?

Встав во главе оренбургского НКВД, Марат Житоров изучил и обнюхал каждую бумажку, что хоть как-то касалась изнуряющего вопроса. Глодало чувство, что истинные виновники не найдены – отец не отомщён!

Житоров выискал справку: в 1932 к семье в колхоз «Изобильный» возвратился Аристарх Сотсков. Когда уничтожали красный отряд, Сотсков был с теми, кто гулял в Буранной. Позже семёрка ему не выпала – остался жив. После прихода Дутова служил в одном из его полков, угодил в плен: отсидел в советской тюрьме, затем – в концлагере, потом отбывал ссылку в Восточной Сибири. Застав дома двоих нагулянных женою детей, отнёсся к этому благоразумно безропотно. Колхоз поставил его скотником.

Его привозили в Оренбург на допрос. Промаявшись три часа, Житоров не почуял в разбитом человеке ничего, кроме надорванности, и покамест отпустил его.

В одно утро, просматривая, как обычно, сообщения, поступающие по линии НКВД, Житоров впился глазами в несколько строчек. В Ташкенте разрешено поселиться «Нюшину Савелию, уроженцу станицы Изобильная, бывшему белогвардейцу, прибывшему из Персии...»

Марат присосался к справке и вскоре выявил. В известный день Нюшин тоже праздновал Святого Кирилла в Буранной; впоследствии, как и Сотсков, воевал в казачьем полку Дутова, вместе с атаманом отступил в Китай. Потом перебрался в Персию. Не подвезло где-нибудь благополучно осесть – мотался по жизни неприкаянно. И соблазнили уговоры большевистских посланников, призывавших беглецов к возвращению. Ждала же Нюшина, как и других, тюрьма. Но, отсидев три года, он не поспешил в родной Оренбургский край, а предпочёл Ташкент.

«Вот он, под золой уголёк! – щекотнуло Марата. – Опасается показать нос на родине – как бы кто чего не вспомнил...» А что же ещё могут припомнить, если не участие в избиении отряда? Ой, увязнешь в горяченьком, Савелий! Не может тот же Сотсков ничего не знать о тебе (а ты, не исключено, имеешь что-то о Сотскове). Тот был неразговорчив, пока не стояла перед ним живая изобличающая личность. А поставь вас пастью к пасти – одно останется: разинуть.

В Ташкент полетело отношение – Нюшина арестовали и этапировали в Оренбург.

8

Житорову муторно сидеть в еле ползущей, как ему кажется, эмке. Изводит нетерпение. Скорее шагнуть в избу к Сотскову, поразив его своим появлением, произнести «Нюшин!» – лицо человечка изменится (пусть на какую-то долю секунды). И потянуть, потянуть верёвочку...

Вакер поглядывал на неприступно-напряжённое лицо товарища – изводился тоже. Не на шутку приспичило справить нужду. Просить остановки, дабы присесть в голом поле на виду у спутников?.. Но вот у дороги подвернулся пригорок с кустарником. Вакер, несмело хихикая, высказал товарищу просьбу. Эмка, а за нею «чёрный ворон» встали. Юрий побежал за пригорком: сапоги неглубоко проваливались в снег, под ним хлюпала вода.

Облегчившись, журналист увидел ниже всхолмка ярок с оттаявшими глинистыми краями; в его откосе видно отверстие, там что-то двинулось. Зверёк как будто бы никак не выберется наружу... Да это же хорь вытаскивает из норы суслика! Вакера с тех пор, как он получил пистолет, съедала страсть испробовать его на живых мишенях. Выхватив оружие, торопливо прицеливаясь, выстрелил четыре раза – меж тем как хорёк бросил ещё живого суслика и улизнул.

Донеслись спешаще-чавкающие шаги – из-за горки выскочили с наганами в руках Житоров и его помощники. Юрий с косой ухмылкой пожал виновато плечами:

– Хорь – мех на шапку. До чего удачно подставился!

– Хо-о-рь? – Житоров побелел, убрал револьвер в кобуру и вдруг залепил другу пощёчину. – Тут колхозные поля, бар-ран, а не охотничьи угодья! Какого х...я я взял тебя на операцию?! Отдай! – он вырвал у журналиста пистолет и передал своему помощнику.

Вспыльчивый, крайне властный, Марат находился в таком настроении, когда его от малейшего непорядка кидало в бешенство. Схватил Вакера за руку, рывком развернул и стал толкать вперёд, с силой накрывая:

– А ну – в машину, засеря! С тобой ещё возись!

* * *

...Возись теперь! Остановив коня, Нефёд Ходаков матерился – зимник пересекала, как раз посреди покрытой льдом речки, полоса воды.

– Проверьте – лужа или что?

Ездовой побежал назад к берегу, где из-под снега торчали заросли ивняка, вырубил тесаком прут подлиннее.

– Не проехать! Это или полынья, или нарочно пробили... прут целиком под воду ушёл.

Командир опасливо посмотрел по сторонам: на противоположном берегу кустарник тянулся вправо и влево и превращался в лес. Высились огромные дубы, вязы, осокори. Не укрывают ли они засаду? Ходаков отправил разведчиков для огляда ближних участков леса, а также велел опробовать в тающем снегу путь в обход полыньи; восседая на могучем коне, придерживал на луке седла укороченную драгунскую винтовку.

Над деревьями взмыли, стрекоча, вспугнутые разведкой сороки. В бинокль была видна на вершине тополя пара грачей: они деловито устраивали гнездо. Солнце клонилось к закату, воздух плыл умиротворяюще тёплый, приятно располагая к лени. Тишина объяла чашу леса, тишь безмятежно спала на полевых просторах.

Страхи не подтвердились. Разведка не заметила никого. Трёхдюймовые пушки благополучно обогнули полынью, и колонна зазмеилась по берегу в направлении станицы: слева про-

тянулся пологий склон возвышенности под слоем вязкого снега, справа, по приречной низине, густела полоса леса.

Задержка сказала: не людям Ходакова пришлось ждать товарищей, что двигались к Изобильной летней дорогой, а наоборот. Ходаков в бинокль увидел: красногвардейцы Житора уже стоят тёмной массой у места, где начинается некрутой подъём к окраине станицы. Было похоже, что они не спешат идти вперёд цепями по снежной целине. Стоило ли, в таком случае, тащить орудия на косогор? Грунт под мокрым снегом всё равно что растопленное сало. Возможно, это невыполнимо – вытянуть батарею наверх по такому скользкому скату. И Нефёд продолжал вести по дороге вытянувшуюся колонну.

Понаблюдав за ней, Житор ничего не стал менять. Снега кругом налились под солнечными лучами тяжёлой влагой, на пригорках зачернели первые проталины. Давеча, когда миновали плотину через Илек, комиссар приказал было колонне рассыпаться по равнине. Ему доложили: в поле человек проваливается по колено в мокреть, идти целиной – то же, что топтать вброд по болоту. И он отменил своё распоряжение. После долгого утомительного марша, после того как по дури обстреляли из пушек коровье стадо, «охватывать» станицу по военным правилам, точно это укреплённый пункт, представилось глупым. В станице тихо как в вымершей, жители наверняка сидят по избам в смертном страхе.

Красные, глядя в её сторону, щурились: закатное солнце резало глаза. Житор, пустив кобылу мелкой рысью, поехал вдоль колонны назад. Он наслаждался тем, что предстаёт перед бойцами непреклонным, мужественным повелителем. Возвратясь в голову колонны, с силой прокричал металлическим голосом команду: послал вперёд конную разведку под началом Маракина.

До околицы – немногим более версты. Меж белых покатых склонов в седловине темнеют крайние избы, хозяйственные постройки. Разведчики гуськом проскакали седловину и скрылись. Красногвардейцы, толпясь на дороге, устало переговариваясь, курили самокрутки, ждали. Скорее бы вдохнуть домашний бесподобный запах наваристых щей! Утолив зверский голод, успеть до ночи нажарить убоины и наедаться уже обстоятельно, до отвала...

По небу плыла с востока белеющая на ярко-голубом фоне рябь, а запад сиял чистой нежной лазурью. Из станицы выехала группа конных, понеслась вскачь, приближаясь. Конники остановились метрах в двухстах и стали подбрасывать папахи, махать руками, кричать. Глядевший в бинокль комиссар со сдерживаемой яростью бросил:

– Нашей разведки не вижу! Какие-то посторонние старики...

Будюхин угодливо подсказал:

– Вон Маракин-то! С ним – тоже наш! А то, – догадался ординарец, – местные посыльные. Подмазались – вроде сами нас ждали и с радостью принимают. Других разведчиков, уж будьте спокойны, усадили за стол и поят...

Житору живо вообразился едоков на двадцать стол, уставленный жирными деревенскими яствами, бутылками и фляжками с самогонкой. Разведка, ничего более не помня, кинулась к стаканам, к жратве... На удлинённом худом подбородке комиссара забила жилка, тонкогубый рот сжался и стал наподобие страшного шрама от бритвы.

– Маракина – ко мне!

Будюхин, нахлёстывая лошадь, помчался к конникам. Маракин что-то проорал ему, группа развернулась и усккала в станицу. Вернувшийся ординарец спешил и уж тогда дожил в испуге:

– Маракин сказал: чего взад-вперёд кататься? Жители в полном покорстве. В сухой избе поговорим.

«Сейчас же арестую! – твёрдо решил Зиновий Силыч относительно начальника разведки. – В Оренбурге поставлю вопрос перед ревкомом! Пусть посидит годик в подвале на сухарях и воде».

Он приказал расчехлить пулемёты и входить в станицу, держа ружьё на руке: но не потому, что ждал нападения. Он пребывал в гневе – и как никогда желалось произвести сурово-устрашающее впечатление.

9

Зиновий Житор был сыном тобольского сукновала, ревностно показывавшего религиозность: по воскресеньям ходил к заутрене и к обедне. Взяв в приданое за женой небольшой деревянный дом, сукновал нажил и второй. В одном обитала семья, другой сдавали внаём. Отец назидательно повторял Зиновию, своему старшему: той части наследства, которая ему достанется, будет достаточно для приобретения флигеля. Если сын окажется не промах, то ухватит через женитьбу дом с мезонином. Коли и дальше станет жить с умом, сберегая каждую копейку, – к старости будет владельцем трёх домов. Его признает счастье, которое к мириадам бедняков даже в мечтах приходит лишь изредка.

Как-то Зиновий сказал с хитрой задумчивостью:

– А четыре дома? А... пять? и карету на дутых шинах?

Выслушав, сукновал взял плётку, предназначенную для дворовых собак, и, левой рукой сжав Зиновию шею, в полную силу стегнул его по задку девять раз:

– Чтобы ты выплюнул эти мысли, как сопли! У кого это в голове, те – картёжники и прочие проходимцы. Они не живут в собственном доме, а шляются по номерам и подышают в ночлежке.

Пугаться подобного было скучно. А какое уныние нагоняли картины правильной жизни в глухом Тобольске, по чьим переулкам лениво шествовали коровы! Лопушатник, крапива вдоль изгородей, дощатые тротуары мозолили глаза. От герани на подоконниках веяло безысходным сном.

Возненавидев всё это, Зиновий спасался в городской библиотеке. Как упоительно было – забываться, перечитывая описание мавританского дворца, средневековой восточной роскоши. Образы властителей возбуждали в нём тот щекочущий интерес, что сродни сладострастию... Он влюбился в Юлия Цезаря, молодого и изящного, каким тот показан в романе Джованьоли «Спартак».

Прочитав новеллу Стендаля «Ванина Ванини», Зиновий представил – вместо Ванины – прекрасного знатного юношу. И вообразил им – себя. Он бесстрашно спасал преследуемого раненного революционера – и их головокружительно бросала друг к другу любовь. Зачерстевшее от борьбы, от опасностей сердце покорялось пылкому нежному спасителю...

Мечты должны были сбыться во что бы то ни стало! Он сделался одержим этим «во что бы то...» В самом деле, ни отец, ни забитая мать не прочли ни одной книжки, какая дичь – пытаться представить, будто их может тронуть что-то, без чего он не мыслит жизни! И однако ему – столь иному! – определён тот же мещанский быт. После чаепития складывать в сахарницу обсосанные кусочки сахара. Носить в починку часы немецкой работы, которые достанутся ему от отца. Искать по Тобольску невесту с приданым. Считать на счётах выручку и расход... Пропади оно пропадом! Он вырвется из-под гнёта этих будней с их лживой степенностью – став... вождём! Обожаемым и вселяющим в души священный трепет.

Реальность покамест говорила другое: пора зарабатывать на хлеб. Зиновий просил отца послать его в большой город в университет. Отец прикинул: придётся платить не только за учёбу, но и за квартиру, то есть отмыкай обитый медью сундучок. Родитель заявил: и в их городе есть где учиться.

– Училище учителей чем тебе не нирситет?

(Имелась в виду учительская семинария).

Поступив в неё, Зиновий высказывался о несправедливости, о «страдании – при полном праве на счастье» – и его приметил один из преподавателей, связанный с политическими ссылками. Однажды он привёл к ним безусого Житора, и тот стал упиваться их речами: слыша

в них то, что было понятно и близко. Как и эти люди, он ненавидел общепринятые порядки, власть, религию.

Его приблизил к себе влиятельный ссыльный: в будущем – видный большевик. Близость стала интимной. Друг собирался бежать из ссылки – Зиновий рьяно помогал ему, что вскрылось после побега. Житора исключили из семинарии, а скоро и арестовали за распространение противоправительственных прокламаций. При нём нашли два револьвера. Около полугода он провёл в тюрьме, и его сослали в посёлок к поморам. Сюда из-за границы добралось письмо друга, адресованное всей колонии ссыльных. О Зиновии говорилось в таком тоне, что один из поселенцев, чья дочь изнывала в ссылке вместе с ним, возымел свои соображения.

Девушка двадцати шести лет, арестованная в Новороссийске на цементном заводе за пропаганду, носила имя Этель – в честь писательницы Войнич, автора революционного романа «Овод». Была Этель непривлекательна: широкие мужские плечи, непропорционально длинный мускулистый торс. Однако Житору это как раз импонировало. И – что было решающим – ему в его двадцать страстно желалось утвердиться среди чтимых революционеров. Он стал мужем Этель, родившегося сына назвали Маратом.

В девятьсот пятом Житор, научившийся ездить верхом, бежал из ссылки на купленной у местного жителя лошади. Влекла Белокаменная, откуда доносило дразняще-острый душок заварушки. Зиновий уже превратился в ярого большевика – человека, которого могло удовлетворить лишь обладание властью, созданной представлениями коммунистов: ревнивой властью над всей собственностью и бытом людей, над историей, над природой. Он участвовал в организации боевых групп в Москве, стрелял из маузера по городовым, по верным царю гвардейцам-семёновцам. Наработав авторитет, скрылся за границу, познакомился лично с большевickими вожаками и был, под чужим именем, вновь направлен в Россию... Февральская революция избавила его от ссылки, отбываемой в Пелыме.

Зиновий Силыч ринулся в Петроград, чтобы быть одним из первых в обретении власти – однако тесть (он состоял в ближайшем окружении Ленина) велел проводить жену и сына. Они жили на деньги партии в Челябинске, Марат учился в частной гимназии. Житор приехал к семье, и тут из Петрограда поступило указание: он нужен в Челябинске, нужен на Урале, его ждёт ответственная организационная работа.

После Октябрьского переворота партия направила его военным комиссаром в Оренбург, здесь он возглавил военно-революционный комитет и стал председателем губисполкома.

В Зиновии Силыче заговорило то, что он испытывал, когда читал о дворцах с их пышным убранством. Действительность, правда, потакала воображению сдержаннее, чем хотелось бы: бери, что есть. Он выбрал квартиру в одном из лучших домов города, в бельэтаже: её раньше занимал важный чиновник государственного контроля. У Житора, жены и сына теперь было по кабинету и спальне, имелись, кроме того, две гостиные, столовая и просторная лакейская. Пустой она не осталась: людей в обслуге было больше, чем членов семьи.

Этель, рано поседевшая и – как это называли, «посуровевшая», – ещё более похожая на мужчину, перестала стесняться некоторых слабостей. Её не оставляли равнодушной бифштексы, пиво, дорогие папиросы: и шофёр на французском автомобиле носился по городу, боясь запоздать с доставкой этих – по наставшей поре – редкостей. В ином Этель не проявляла особой взыскательности, как не досаждала себе и заботами о карьере, удовлетворённая тем, что её поставили начальствовать над штатом машинисток губисполкома.

Она, как и многие, не поняла Житора, пожелавшего лично возглавить поход в беспокойные станции. Ему намекали, что это необязательно для руководителя губернии, но Зиновий Силыч остался твёрд.

10

Отряду предстояло до Соль-Илецка проследовать поездом, и на вокзале, украшенном алыми флагами, состоялись торжественные проводы. Под сводами зала прозвучали патетические речи и клятвы «умереть, но выиграть у прихлебателей царизма битву за хлеб!» Затем отъезжающие подошли к своим близким, чтобы, как прочувствованно писала большевицкая газета, «получить родное напутствие и взять приготовленную в дорогу пищу». Зиновий Силыч обнял жену и сына. Внимательный, собранный подросток проговорил тихо, но упорно:

– Папа, я еду с тобой-с-тобой-с-тобой!!! – что есть силы сжал веки, но всё равно из-под ресниц показались слезинки.

Он был в новом рыжем кожаном, отороченном мерлушкой, в финской ушанке с кумачовой звездой над козырьком. Отец с гордостью смотрел на него, наслаждался тем, что сын преклоняется перед ним, считает его великим. Возбуждённый почти до иступления, Зиновий Силыч произнёс:

– Когда я вступлю в бой с врагами, я буду представлять – ты сражаешься рядом со мной! Знай: так и будет, когда революция охватит всю Европу и Азию! Этот час близок...

Заворожённо слушавший Марат энергично кивнул и мокрым от слёз лицом прижался к шинели отца. Оба застыли. Потом Житор протянул руки, и Этель положила в них свёрток: деревенский сыр, сухари, две фляжки с вином. Мужа и жену одинаково отличало то, что кажется весьма странным при их жизни и возрасте, но, однако же, встречается: непреходяще детская расположенность к романтике, навеянной прочитанным. Сейчас оба перенеслись в Италию времён Гарибальди. Скромную снедь взял из рук подруги прославленный революционный вожак, который во главе угнетённых шёл на Рим – расправиться с толстосумами и попами...

Спустя несколько дней, в пронизанный весенними лучами вечер, когда снежная степь чернела взгорками и курилась испарениями, не в станицу въезжал Житор на спокойной с жирным крупом кобыле – кровный арабский скакун нёс его в Вечный Город. Церковь впереди за безлюдной площадью виделась монументально огромной. Солнце, наполовину зайдя за купол, грубо кололо глаза, раздражая и подстёгивая. За всадником нестройной колонной, по пятеро в ряд, двигались, выставив штыки, красногвардейцы, шлёпали по лужам копыта лошадей, что везли двуколки с пулемётами. Их рыльца смотрели: одно влево, другое вправо – на медленно проплывающие добротные избы за частоколом изгородей.

Житор, порядком уставший, изо всех сил старался прямо держаться в седле. Он думал, как кстати повязка, прижимающая к голове ухо, которого он едва не лишился давеча. Сдвинутая набок папах и выглядела лихо, и не скрывала бинта.

Заботе о том, чтобы всё разыгрывалось картинно, нимало не противоречила расчётливая трезвость. Зиновий Силыч создавал себе имя истого солдата партии. Пусть в ЦК узнают, как он, «простой боец впереди бойцов, штыком отвоёвывает у сельской буржуазии хлеб, столь необходимый Республике». Газета «Правда» напечатает, сколько эшелонов зерна предгубисполкома Житор, «раненный во время смертельной борьбы», отправил в Москву, в Петроград...

Двери церкви были закрыты; перед нею, а также слева и справа, отделяя от площади сад и кладбище, чернела кованая ограда. Комиссару вдруг захотелось замедлить шаг кобылы. Будюхин, ехавший поодаль, отвлёк:

– Ага! Баню топят! – указывал рукоятью нагайки в один из дворов: на дальнем его краю стоял сруб с трубой, из которой повалил дым.

Невыносимо завизжала свинья под ножом. Ординарец и вовсе возликовал:

– Подлизываются граждане казаки – борова нам режут!

Житора царапало по сердцу: «Что-то не так...» Он уже выехал на площадь, и, когда до церковной ограды оставалось шагов тридцать, беспокойно обернулся. Заборы, что тянулись по сторонам площади, были непривычно глухими. «Частоколы обшили досками!» – понялось остро и запоздало. Долетели звуки баяна, весёлый пересвист. «Обман! – бешено завертелась мысль. – Западня!» Он хотел прокричать приказ: занять круговую оборону!.. Но вдруг массивная церковная ограда опрокинулась вперёд – за нею возникли на секунду цепочки блестящих точек: сокрушающе шибнул близкий рассыпчатый гром.

Комиссару показалось – его вместе с лошадью взвилось ввысь... он ударился оземь, бок кобылы придавил его ногу.

Со стороны сада грянул невероятно тяжкий, плотный удар, над землёй скользнул рвущее-железный визг: картечь... На площади и дальше, в улице, упали вкривь-вкось фигурки, над ними поднимался парок. Из-за глухого заплота полетела, кувыркаясь, бутылочная граната, катнулась под ноги бегущих сломя шею отрядников. В жёлто-багровой вспышке подброшенное тело рухнуло боком, минуту-две оставалось мёртво-недвижным и вдруг стало сосредоточенно, с какой-то странной однообразностью биться.

Над заборами поднялись головы в папах, сторожко выглянули стволы винтовок – и понёсся оглушительно-резкий, густой, звонкий стук-перестук. Едва не каждая пуля попадала в живое: станичники для удобства стрельбы приставили к высоким заплотам лавки.

11

Ходаков ехал верхом по зимней дороге, за ним узкой длинной лентой тянулось его войско. Зимник вился низиной, что к лету будет непроходимо топкой. Справа к дороге теснился приречный лес, за ним был виден покрытый льдом Илек. Слева подступала гора. Колонна приближалась к месту, где зимник пересекала дорога, по которой в станицу только что прошла часть отряда во главе с Житором. Каких-нибудь десять минут, и на перекрёсток выедет Ходаков.

Вдруг за холмом в станице гулко стукнул ружейный залп, с эхом слился выстрел из пушки. Ходаков встал на стремях, растерянно-возбуждённый, – и тут зачастило сверху: будто чудовищная сила быстро-быстро рвала парусину. Казаки переползали через гребень и, лёжа на снежном склоне, крыли из винтовок вытянувшуюся колонну. Чтобы скорее вывести своих из-под холма, Ходаков скомандовал:

– Бегом вперёд!

В поле можно будет построиться в боевые порядки, развернуть пушки.

Поднялась суматоха, падали убитые, раненые, и тут позади красных разлилось устрашающее завывание – по дороге во весь опор неслись конники с пиками; с ходу смяли задних, кололи, рубили мечущихся красногвардейцев. Отточенные клинки блекло посверкивали, косо падая на живое, остро взвизгивали.

Пулемётчики, что ехали в двуколке ближе к середине колонны, успели изготовить пулёмёт к бою, но перед дулом мельтешили свои, а когда оказались станичники, было поздно: первый и второй номера обливались кровью, подстреленные с холма.

Нечего было и думать – в такой свалке установить орудия. Ездовые хлестали кнутами лошадей, и те рвались вперёд, давя пехоту. А станичники сзади наседали и наседали. Конники рысили и лесом справа от дороги: под их шашки попадали красные, что ныряли с зимника в лес.

Ходаков увидел – до поля доберётся разве что горсточка. И приказал «занять оборону в лесу!» Туда бросились массой. Уцелевшие сбились вокруг Нефёда, стали отстреливаться. Он с трудом держался на ногах, получив удар шашкой по голове: клинок рассёк шапку и скользнул по черепу, сняв кожу.

От станицы донесло крики: остатки тех, кто вошёл в неё с Житором, спасались бегством. Несколько человек проскочили в лес – Ходаков встретил их яростным:

– Где комиссар? Что с отрядом?

– Убит комиссар! Почти все убиты!!

Весть так и резнула. А тут ещё из станицы наёмом вынеслись, с шашками наголо, казаки. Паника сорвала красных с места: кинулись врассыпную на лёд Илека, стали прятаться в прибрежных зарослях. Ходакова ранило: пуля ожгла рёбра, прошив мускулы мощного торса. Нефёд заполз в мёрзлые камыши, а когда стемнело и кругом лежали лишь трупы, он на четвереньках добрался по льду до другого берега и, с передышками, пошёл. Его заметил проезжавший в лёгких санках школьный учитель из деревни нелюбимых казаками переселенцев и взял к себе.

Уцелел ещё начальник конной разведки Маракин. Он рассказал в ревкоме, что, когда со своими разведчиками въехал в станицу, их встретили хлебом-солью. Над домом атамана был вывешен белый флаг. Нигде не замечалось ничего подозрительного. И, оставив товарищей рассёдлывать уставших коней, Маракин со своим замом поехал к отряду доложить, что в станице спокойно...

Старики-хлебосолы вокруг «так и юлили», «кланялись об руку», пригласили команду «к обеду»: в здании школы ждали накрытые столы. Внезапно снаружи раздалась стрельба. Раз-

ведчики бросились во двор, а там их встретили «предательские пули» казаков, тишком окруживших здание. Маракину удалось отскочить назад в школу, здесь он проскользнул в подвал, и ему посчастливилось: туда никто не заглянул. Дождавшись темноты, он прокрался на кладбище, что было рядом, и через него бежал из станицы.

Члены ревкома неохотно верили в чью-либо искренность, и на Маракине осталось подозрение. По меньшей мере, он был виновен в том, что «оказался глупее врага» и завёл отряд в западню. Разведку свою дал перебить, «как куропаток»... Его исключили из партии, посадили в оренбургскую тюрьму; впереди маячил расстрел.

Нефёда Ходакова, перебинтованного, тяжело дышащего, приводили в ревком под руки. На вопросы он отвечал чуть слышно, просил воды... Его обвинили в том, что не выслал стрелков на гребень холма и «подставил» колонну под огонь сверху. Однако потом дрался храбро, это учли. От угрозы расстрела он был избавлен.

Меж тем дознание в Изобильной воссоздало подробности разгрома. Станица умело готовилась. Основная часть казаков залегла за кованой оградой, что отделяет от площади кладбище и сад. Ограда крепилась к основанию болтами, которые были загодя вывинчены: её оставалось лишь толкнуть... За нею казаки приготовили и пушку: старинную, из какой последние лет двадцать на масленицу палили тыквами. На этот раз её зарядили картечью.

12

Автомашины проехали околицу, нагнали группку баб, что опасливо шарахнулись от дороги. Это были свиарки, возвращавшиеся домой с колхозной фермы. Житоров выглянул из эмки:

– Эй, вы, молодая в ушанке, подойдите!

Колхозница робко приблизилась.

– Покажите дом Сотскова! – начальник велел ей встать на подножку «чёрного ворона» и пропустил его вперёд.

Дом у Сотсковых отобрали ещё в Гражданскую войну, когда Аристарх ушёл с дутовцами; с тех пор семья жила в избёнке с двумя перекошенными оконцами, расположенными так низко, что желающий заглянуть в них снаружи должен был наклониться.

Житоров без стука распахнул дверь, за ним вошли сотрудники и Вакер. В избе было сумеречно, за столом сидели люди.

– Э-э, свет зажгите! – приказал Марат раздражённо и гадливо.

Из-за стола встал мужчина, чиркнув спичкой, зажёл керосиновую лампу. Осветились перепуганные лица: девочки лет пятнадцати и другой, помладше; миловидная женщина держала на коленях маленького мальчика. На столе стояли глиняные миски с надшербленными краями, лежали почерневшие деревянные ложки. Никто из хозяев не говорил ни слова, слышалось, как фитиль в лампе потрескивает от нечистого керосина.

У мужчины, который впился глазами в Марата, была худая шея, чахлая борода. Вакеру его внешность показалась не по годам «старицовой». Юрий изучал его и с интересом осматривался. Несказанно обзланный на приятеля за пощёчину, старался держаться с видом «да ни хрена не было!»

Сотсков продолжал стоять у стола, руки висели плетью. Обращаясь к нему, Житоров назвал себя и словно гвоздь вбил:

– Конечно, не забыли?!

Лицо мужчины двинулось в усилия, как если бы он, страдая заиканием, попытался что-то сказать. Марат, повернувшись к нему вполоборота, молчал. Вдруг хищно шагнул к Сотскову:

– Арестован Савелий Ньюшин! Он в Оренбурге!

Глаза человека блеснули и метнулись к двери, точно она должна была распахнуться... Житоров сунул руки в карманы шинели и бешено – девочка взвизгнула – рыкнул:

– Онемел?! С чего побелел так?

Мужчина неожиданно внятно и ровно произнёс:

– Ну что ж – Савелий Ньюшин. Я его знаю.

Марат смотрел с застывшей во взгляде насмешкой, затем поманил пальцем Аристарха, и, когда тот обошёл стол, крепкая пятерня прикоснулась к его лбу, пальцы проползли по бровям, по векам закрытых глаз.

– Почему я, о-очень крупный, занятой начальник, приехал самолично к тебе, в твою халупу? Разве я не мог дать распоряжение, чтобы тебя вытащили в наручники? Я делаю ради твоих детей, вон они глядят на тебя и на меня, ибо как коммунист могу понять сердце человека... Скажи два слова – и мы уйдём, а ты останешься с семьёй.

Вакер усмехнулся про себя: «Как бы не так!» Сотсков не открывал глаз, видимо, мысленно читал молитву. Марат выдвинул вперёд голову, будто желая вцепиться в его лицо зубами.

– Ньюшин участвовал в расправе над отрядом?

Аристарх отшатнулся, начальник обеими руками скомкал на его груди рубаху – женщина ахнула:

– Го-о-споди!

Муж тихо заговорил:

– Сколько меня выпытывали про тогдашнее. И вы в Оренбурге визнавали так и эдак. Весь тот день я был в станице Буранной – и Нюшин был там же. Праздновали Святого Кирилла.

– Не отлучался Нюшин? Можешь поручиться?

– Дак всё время был у меня на глазах.

Житоров выговорил с переполняющей злостью:

– Интересно, что все вы друг у друга на глазах были! – бросил взгляд на детей. – Другое помещение есть? Туда пройдем!

Женщина вскрикнула: – Что же делается? – зарыдала. Старшая дочь взяла у неё захныкавшего ребёнка. Пришедшие меж тем слегка расступились, пропуская Сотскова в сени. Там он указал на дверь холодной кладовки.

Прошли в её полутьму – немного света проникало сквозь узкое окошко. По сторонам стояли кадушки с солёными огурцами, с квашеной капустой, горшки с отрубями, на стенах висели сбруя, серпы, пила-ножовка, связки лука, мешочки с семенами, пучки сухого укропа...

Житоров приказал Сотскову зажечь стоявшую в стакане на полке сальную свечу и держать её перед лицом.

– Нюшин знает тех, кто напал на отряд?

– Вам бы у него лучше спросить.

– Но ты знаешь, что он знает?

– Нет.

Кулак приложился к правому подглазью Аристарха – стакан со свечой глухо стукнулся об пол. Сотсков упал. Подошва сапога опустилась на его скулу.

– Убью, блядь! Говори-и!

Марат убрал ногу с лица лежащего, в неполную силу пнул в правую сторону груди: раздался сдавленный стон. Нога вновь занесена для удара.

– Встань! Свечу!

Аристарх поднялся, подобрал потухшую свечу, зажгёт. Житоров с удовлетворением следил, как дрожат его руки от ожидания побоев.

– Морду свою освети, та-ак! Даю тебе подумать три минуты. Или ты говоришь то, что знаешь, о Нюшине – и я ухожу. Или мы увезём тебя в Оренбург, и уж я тобой займусь... – поднял руку, приблизил к глазам Сотскова циферблат наручных часов. – Три минуты пошли!

– Жестоко вы меня пытаете... невиновен я.

– А Нюшин?

– Про него ничего не знаю.

Марат резко замахнулся – лицо Сотскова дрогнуло, глаза закрылись. Обошлось без удара.

– С нами поедешь! – обронил негромко Житоров; он, сотрудники и Вакер вышли во двор.

Сотскова пустили в комнату одеться, за ним последовали милиционеры, оставив дверь нараспашку. Из избы донеслись детский плач, женские причитания, окрик милиционера:

– А ну, поспешай! Некогда нам!

На дворе, несмотря на приближение ночи, температура была плюсовая. С крыши, крытой толем, срывались частые капли. Где-то неподалёку заржала по-весеннему беспокойно лошадь. Вакер, показывая, что чувствует себя прекрасно, всей грудью вздохнул и, топчась возле Житорова, высказал:

– Решил стойку держать. Тебя не знает...

Приятель удостоил ответом:

– Ну-ну, знаток ты наш!

Ночевать остались в колхозе. Сотскова под охраной сотрудника НКВД и милиционера поместили в сельсовете. Марат, его помощник по фамилии Шаликин, а также Вакер расположились в доме председателя сельсовета, человека в прошлом городского, направленного в село

партией. Его жена была известна тем, что умела готовить по-городскому. Житорова снедала своя страсть, далёкая от радостей приёма пищи, Шаликин казался человеком малоразборчивым в еде – зато журналист оценил по достоинству рагу и соусы.

В четверть седьмого утра Марат, за которым поспевали спутники, молодцевато взбежал по ступенькам сельсовета и, полный злой нетерпеливой энергии, шагнул в комнату, где на брошенном на пол тулупе провёл ночь Сотсков.

– Встать!

Аристарх и без того уже торопливо поднимался. «Ни минуты не спал», – отметил Житоров, всматриваясь в напряжённые, с багровыми прожилками, глаза.

– Ты крепко подумал?

На лице Сотскова появилось подобие улыбки, что вызвало у Вакера мысль: «Юродствует?»

– Всё зависит от тебя! – говорил Марат казаку. – Два слова о Ньюшине – и иди домой к жене, к детям. Ведь как обрадуются!

Сотсков смиренно-сожалеюще развёл руками:

– Я бы рад всей душой, но не врать же...

– Нет! Мне нужна правда!

– Дак всё уже сказал.

Житоров произнёс неожиданно мирным тоном, со странным безразличием:

– Сволочь ты. Не жалко тебе семьи. Иди в машину и потом не жалея, если не вернёшься!

Сотсков без суеты надел полушубок и вышел. Дверца «чёрного ворона» захлопнулась за ним. Марат, идя к эмке, приостановился и, вспоминая, поглядел по сторонам:

– Дом хорунжего тогда, я знаю, отдали бедняку...

Один из милиционеров услужливо пояснил:

– Ну да! Потом он сгорел. На том месте построили дом, где вы ночевали.

13

Хорунжий с женой с утра собирались в дорогу. Станицы не поднялись общей дружной силой – через несколько дней сюда беспрепятственно придут красные каратели. Нетрудно представить, что Прокла Петровича Байбарина ожидает смерть не из лёгких. Это его послушались самые обстоятельные, умные казаки, каких набралось в Изобильной и в ближних местах до полутысячи... Побитые ими отрядники свалены в наспех выкопанную яму.

Не одни Байбарины уезжают; тут и там грузят на возы поклажу. Станичники, которые оружия в руки не брали, глядят на отъезжающих со вздохом: какие тех ждут скитания по чужим бесприютным краям... Что самим впору бежать – не понималось. Весной 1918 революция ещё не приучила к истине: у нагана своя арифметика, а чтобы перед его дулом невиновным оказаться, – на то замечательное требуется везение.

Хорунжий запряг в тяжело гружённую телегу двух рослых рабочих коней. В возницы подрядил работника из иногородних – неженатого, склонного к перемене мест малого лет под сорок Стёпу Ошуркова, любившего, чтобы его звали Степуганом. Сам Прокл Петрович с женой поместился в крытой коляске; впряг буланого жеребца и неприхотливого меринка с сильной примесью ахал-текинских кровей. С обозом шли три запасных лошади, несколько коров и отара овец.

Байбарины встали на колени на крыльце, неотрывно глядя в проём распахнутой двери. Прокл Петрович с непокрытой головой, крестясь двуперстием, прочитал короткую молитву. Жена Варвара Тихоновна плакала в безысходном мучении, слёзы лились неостановимо. Оба поклонились зияющей пустоте дома, на добрых три минуты прижались лбами к доскам крыльца. Потом Прокл Петрович быстро взял жену под руку, с усилием помог ей подняться, грузной, ослабевшей, повёл к коляске и усадил под кожаным пологом.

Во дворе толпились люди, беспокойные, подавленные – смущённые сомнением в собственном завтра. С разных сторон раздалось:

- Прощай, родимый!
- Храни тебя Богородица!
- Счастливо возвратиться!

Байбарин, стоя в таратайке на передке, растроганный и горестный, крикнул:

– Прошу за нас молиться! А я за вас буду – я всех, всех помню... – голос пресёкся, хорунжий заслонил от людей лицо рукой в рукавице.

Лошади взяли с места машистой рысью – он пошатнулся, но продолжал стоять в повозке. Работник щёлкнул кнутом, погнал со двора овец, их блеяние походило на человеческий стон. Коровы не поспевали за повозками, и коней пришлось придержать, хотя и очень хотелось сократить минуты расставания.

Байбарин направлялся в станицы, которые не признали комиссародержавие, и там, по слухам, собирались антибольшевицкие силы. Первые дни путники держались Илека, на котором ноздревато припух, приобрёл оттенок серы подтаявший сверху лёд. Потом стали забирать севернее, и вот по правую сторону завиднелись придавленные линии грудящихся кряжей.

Низовой ветер обжигал холодом, и подмороженная ночью дорога не раскисала. Лошади шли размеренным шагом, под колёсами хрупко шуршал, сдавливаясь, сшитый ледком грунт. Часа в три пополудни поравнялись с зимовьем; огороженный плетнём загон пуст – казаки угнали скот, зная, что иначе его реквизируют красные.

Прокл Петрович слез с козел, заглянул за плетень: посреди загона темнела мёрзлая земля, местами покрытая навозом, а по сторонам ещё лежал снег, поблескивала ледяная корка.

– Хозяева отменные – потрудились и корм увезти! – сказал с похвалой и вместе с тем с сожалением: своего-то корма надолго не хватит.

Работник живо откликнулся:

– Увезли, да не всё! Сейчас увидим... У казака душа без скупости! Раздольем избалована. – Он перемахнул через городьбу, проломал руками тонкую корку, разгрёб снег и поднял охапку слежавшегося сена.

Варвара Тихоновна истово возблагодарила Бога. Муж её открыл ворота, и овцы, чуя сennyй дух, устремились в загон. Мужчины кидали им огромные охапки сена, и Прокл Петрович соглашался со Стёпой, что оно – «тёплое, как на печи лежало!» Глядя на свою бездомную скотину, что с хрустом пожирала корм, Байбарин готов был заплакать от радости и оттого, что это чувство так щемяще-хрупко.

В сторожке развели огонь, подвесили котелок на треножнике, и хозяин опять поспешил к овцам – подбрасывал, подбрасывал им сено. Дыхание обступивших животных волновало его, он наклонялся и с нежностью трепал рукой шерсть на их спинах.

Когда присели вокруг огня поесть каши, он принялся с болезненным пылом хвалить здешний край. Вспомнил: недалеко от зимовья есть заросшая лесом долина, изумительно привольная летом, когда её берёзы, ивы, осины, ольху, черёмуху обвивает цветущий хмель и кругом свисают его желтоватые шишечки. Работник поддакнул:

– Богатое место! Тому уж десять лет – попалась мне в силки куница. Становой пристав услышь – велит меня к нему привести. Ты чо, грит, врёшь, будто куниц ловишь? Я в ответ: не я вру, а люди, мол, врут. Он: это хорошо, что не хвастаешь, правду говоришь. На-а – выпей! Напоил меня, я и сболтни: правда-де водятся куницы. Ну, он и стал ездить сюда. Ездил год за годом, пока не выбил всю куницу.

Байбарин хотел что-то сказать, но только дёрнул головой. Жена предложила ещё каши – отмахнулся. Утварь прибирали в беспокойном молчании. Варвара Тихоновна вытирала глаза рукой и шевелила губами, читая по памяти молитвы.

От зимовья поехали дальше не по дороге, а по тропке, что заворачивала на неровную поросшую мелким кустарником местность. Дорога же проходила через деревню, чьи жители, переселенцы из нечерноземных губерний, могли быть на стороне большевиков. Мужики на новой земле вышли в зажиточные хозяева, но так как между ними и казаками тлела застарелая вражда, они поверили, будто красные хотят отдать им на раздел казацкие угодья.

Байбарин знал: тропка приведёт к оврагу, где есть съезд и выезд, неопасные для умелого возницы. Он первым подъехал к спуску, и в груди неприятно толкнуло – в овраге стояла вода, схваченная ледяной плёнкой. Подошёл соскочивший с телеги Стёпа, снял и надел шапку.

– Только на пароме и переплывать!

Приходилось возвращаться на дорогу, катить деревней. Прокл Петрович, чтобы не пугать жену, зашёл, якобы по нужде, за повозку, вынул из кармана полушубка заряженный револьвер и проверил. Взявшись за вожжи, обернулся – подбодрил улыбкой сидевшую позади под пологом Варвару Тихоновну.

За таратайкой шли коровы, лошади, семенила отара, двигался воз. Дорога привела в обширный дол, куда за зиму щедро намело снегу; он успел здорово потаять, но всё же у зарослей ещё косо лежали небольшие сугробы. К концу дня выглянуло низкое солнце, и сугробы отливали дымчатым гляncем.

Проехали плотину, засаженную по сторонам редкими тополями. Навстречу, захлёбываясь злобным надсадно-хриплым лаем, помчались деревенские собаки. Обоз втянулся в непомерно широкую улицу, чьё пространство раскинулось сплошняком замёрзшей грязи. Однако приземистые бревенчатые дома справа и слева смотрели весело; оконные наличники светились жёлтой или небесно-голубой краской.

Из калитки вышел пожилой мужик, зорко пригляделся и застыл. Байбарин понял – считает овец. Другой мужик, стоя за заплотом, положив на его край руки, а на них – подбородок, проводил обоз внимательным неотрывным взглядом. Попавшийся навстречу парень нёс

на спине мешок, в котором дёргался и взвизгивал поросёнок. Прохожий ни с того, ни с сего загоготал, крикнул Байбарину:

– Эй, бога-а-той! Куды едешь, бога-а-той? – скверно выругался: – В п... езжай!

Степуган, уважавший Прокла Петровича, ответил с телеги парню:

– Ты там уже был? Расскажи!

Парень, невероятно поражённый услышанным, остановился, глаза смотрели тупо и яростно. Байбарин, не глядя по сторонам, правил лошадыми с видом угрюмой сосредоточенности. Оставили позади колодец с торчащим ввысь журавлём, впереди показались группки берёз на равнине, деревня стала отдаляться. Прокл Петрович услышал воодушевлённый голос Степугана:

– Даром глазели, козлы! А одного волкодава я ожёг по самой морде!

* * *

Сосущая тревожность не отпускала, хорунжий решительно крикнул лошадям: – Тпру-у! – и сошёл на дорогу. Стёпа остановил воз, не понимая, чего хочет хозяин. А тот смотрел туда, где за юром скрылась деревня...

Так и есть: на юру появилась подвода, конь бежал рысью. Работник повернул голову:

– Может, это так... по своим делам.

Байбарин бросил:

– Держись поближе к коляске!

Обоз двинулся дальше. Позади нарастали конский топот, стук колёс. Чей-то манерный голос понукал лошадь и с шалой игривостью прикрикивал:

– А-ай, как по пуху вези-ии, ха-а-р-роший!

Подвода обходила слева; обогнала запряжку Стёпы, поравнялась с коляской. Стоя в телеге на коленях, мужик в саржевом чекмене правил вспотевшим чересчур раскормленным конём. Два молодых мужика сидели на грядке подводы, свесив ноги в новых сапогах. Сбоку от того, что сидел ближе к задку, торчало из телеги ружьё. Он взял его на изготовку и остервенело, будто не в себе, завопил:

– Вста-а-ли, как вкопанные!!

Байбарин осадил лошадей и, не слезая с сиденья, повернулся к подводе. Он увидел: направленное на него ружьё – однозарядная берданка. Второй мужик, крутнувшись, достал из телеги трёхлинейку пехотного образца; она была длинна, и он задел стволом того, что держал вожжи. Ткнув приклад в землю, опираясь на винтовку, как на палку, с важностью спросил Байбарина:

– Почему нарушаете?

– Что я нарушаю?

– Едете и не кажете бумагу! У нас, чай, сельсовет есть! – На крестьянине – защитного цвета шаровары: побывал в солдатах.

Его товарищ закричал Стёпе, сидевшему на передке воза: – Иди сюда! – и выстрелил. Пуля звучно клюнула ребро телеги – на ширину ладони от ноги работника. Тот моментально прыгнул наземь, невольно пригнулся, затем стал неуверенно приближаться.

Прокл Петрович медленно, тяжело, как бы неохотно сошёл с коляски, вдруг выхватил из кармана револьвер и левой рукой взвёл курок (револьвер был устаревший, не самовзводный). Бывший солдат, вскидывая винтовку, рванул затвор – и тут же в грудь вошла пуля.

Тот, что с берданкой, успел нашарить в кармане патрон и поднести к казённику – опять треснул выстрел. Хорунжий целил в ногу, но попал мужику в надпашье. Ружьё упало, человек грянулся на дорогу боком и стал извиваться.

Возница, обомлевший было, погнал коня вскачь. Раненый в солдатских шароварах (от удара пули он стал заваливаться в телегу), упал с неё. Байбарин подобрал винтовку, крикнул вслед удиравшему мужику: – Сто-о-ой! – и, прицелившись повыше конской головы, выстрелил. Возница съёжился, хорунжий пальнул ещё раз – теперь по подводе. Мужик натянул волосяные вожжи так, что лошадь завернула голову – удила раздирали губы.

– Воротись!

Крестьянин, перепуганный, подъехал.

– Распрягай! – Байбарин держал его под прицелом.

Мужик стал суетливо выпрыгать взмыленного коня, с удил срывалась кровавая пена. Лёжа на дороге ничком, раненный в надпашье стонал; он, видимо, в бреду; руки шарят по подмороженной грязи, а ноги не шевельнутся. Другой раненый сел на земле, рот, дёргаясь, приоткрылся, по подбородку потекла кровь, голова склонилась на грудь.

В коляске причитала, охала за полстью Варвара Тихоновна. Стёпа то и дело отбегал от повозок в поле, глядя в сторону деревни. Появятся вооружённые мужики – и конец придёт не только хозяину, но и ему. Он не провинился ни перед красными, ни перед белыми и, при всей симпатии к Проклу Петровичу, не желал потерять жизнь за чужие счёты. Стёпа мысленно клял себя за то, что подрядился ехать.

Хозяин указал:

– Гляди – овцы разбегутся!

Когда велел привязать к задку таратайки крестьянского коня, работник заметил:

– Прибавить бы надо – за риск!

Прокл Петрович произнёс не без обиды:

– Неужели я забуду?!

Поехали, оставив возле раненых возницу с подводой. Он неожиданно кинул вдогонку:

– Отплата будет!

Байбарин остановил запряжку. Взбешённый, шёл назад, поднимая руку с револьвером. Варвара Тихоновна высунулась из-за полсти:

– Упаси тя Бог, батюшка! Брось ты его, отец!

Мужик прятался за телегой. Хорунжий плюнул и вернулся к лошадям.

На пути темнела осиновая роща, густая даже без листвы. За осинником оказалось перепутье: одна дорога вела на северо-запад, другая уходила к югу. Байбарин разнуздал чужого коня, шлёпнул его ладонью по крупу: гуляй! Обернулся к работнику:

– Решат – мы в станицы повстанцев спешим, – показал на северо-запад. – А мы кружным путём поедем.

За обочиной раскинулась огромная лужа, покрытая ледком. Прокл Петрович выдернул затворы из отобранных ружей, забросил в разные стороны, а винтовки швырнул в лужу: ледок проломился, и они легли на дно.

14

Дорога пролежала по косогору, с которого уже сошёл снег. Низко стлались сумерки, как будто пространство заволакивал дым. Вдали на возвышенности виднелся верховой, по войлочной шляпе Байбарин признал башкира. Всадник пересёк дорогу и пустил коня торопким шагом по дну яра, далеко объезжая встречных. С воза Стёпа крикнул хозяину:

– Ну и лисица – башкирец! Бойтся, как бы не подстрелили!

Прокл Петрович подумал: «А ведь и впрямь подстрелят...» Для красных этот всадник – вероятный «буржуазный националист», для белых – инородец, не желающий, скорее всего, воевать на их стороне.

Взошла ущербная луна, обоз приближался к замершему в темноте маленькому селению. Там так тихо, что подумалось: уж не покинуто ли оно? Но вот несмело забрехала дворняжка, метнулась за полуразвалившуюся постройку. В другом строении Стёпа разглядел едва теплившийся огонёк – повернули туда. Вокруг избы торчало несколько кольев – остатки плетня; труба над крышей дымила. Пригнувшись в дверном проёме, вышел хозяин.

– Живём в нужда, хорош человек! Конь нет, быки нет... – Это был старик-башкир.

Прокл Петрович поклонился ему в пояс и попросился переночевать. Чего башкир не ожидал, так это поклона. Стоял безмолвно и недвижимо, затем, опомнившись, поклонился сам до земли, показывая руками на дверь. Стёпа, стаскивая с воза торбы с овсом, обронил:

– Загон-то вон, а коней всамделе не видать.

Байбарин провёл в избу смертельно уставшую Варвару Тихоновну, он и сам едва переступал от утомления. Посреди помещения в грубо сложенном из дикого камня открытом очаге догорали, сильно дымя и почти не давая света, кизячные лепёхи: дым утягивало в расположенный над очагом дымоход. У огня сидела на корточках женщина, трое ребятишек возились на посланных на земляной пол овчинах.

– Господи, бедность-то какая... – перекрестившись, Варвара Тихоновна прилегла на лавку, что тянулась вдоль бревенчатой стены.

Башкиры, в не столь давнем прошлом кочевой народ, приноровились умело рубить избы, нередко украшая их искусной резьбой, но жилище, где нашли приют путники, оказалось не из таких.

Старик бережно положил в очаг дрова, они быстро разгорелись, затрещали, и в избёнке стало светлее. В ней почти ничего не было; на прибитой к стене полке стояло несколько деревянных мисок и чашек. Прокл Петрович увидел: у женщины симпатичное лицо, из-под платка спускаются на спину две толстые чёрные косы. Она вскипятила котёл воды и бросила в неё немного измельчённого в порошок вяленого мяса. Стёпа, коверкая язык, как обычно делают русские из простых в разговоре с инородцами, спросил башкира:

– Почему баран не резал? Почему нет свежий мяса?

Старик испуганно, жалобно поглядел на Байбарина, и тот поспешно сказал:

– Не надо мяса! У нас всё есть! – Послал работника к повозке за припасами, принялся раздавать принесённую снедь хозяевам, детям. Ребятишки стали жадно есть, старик и женщина (очевидно, молодая жена) сдерживались, но было видно, что и они не избалованы сытостью. Стёпа взглянул на башкира, осенённый догадкой:

– Может, тебя кто мал-мал грабил?

Тот закивал, возбуждённо заговорил на родном языке. Байбарин и работник, немного понимавшие по-башкирски, узнали: с осени на посёлок нападали дважды, потому в нём и не осталось почти никого – люди бежали в большие сёла. Банда убила несколько мужчин. Один из бандитов выстрелил в дочь старика – девушку, когда она, перепуганная, бросилась в поле. Трое

суток она мучилась от раны, пока умерла. У семьи забрали лошадей, коров, жирных баранов – оставили дюжину овец... Женщина отвернулась, плечи вздрагивали от плача.

У Байбарина тонко, переливчато зазвенело в ушах – подскочило кровяное давление. Он сидел на овчине у очага, смотрел на свои ладони и не вытер побежавшую по щеке слезу. Душила ненависть к бандитам, изводило сознание своей беспомощности. Спросил башкира:

– Кто грабил... у них шашки были?

– Рус грабил! Шашка – нет. Ружьё был. У всех был ружьё. Морда чёрный был. Сажа.

«Не казаки! Казак без шашки не поедет, – отметил про себя Прокл Петрович. – И не станет сажей мазаться: прикроет низ лица платком».

Стёпа, понимая его мысли, сказал:

– Переселенцы делают! Распоясались мужики. Сколько их пришло с войны с оружием!

Сладко зевнул и лёг спать, завернувшись в тулуп, раздался могучий храп. Прокл Петрович думал – волнение не даст уснуть. Но тоже провалился в сон как в смерть.

Когда наутро собрались ехать, Байбарин сказал хозяину, что оставляет ему лошадь из запасных и корову. Тот долго не понимал, но и когда как будто бы понял – сохранял насторожённость, предполагая коварство. Щупал бабки у молодой рослой кобылы, осматривал корову, а Прокл Петрович повторял:

– Отгони в лес и там паси, чтобы не отобрали.

Старик в немом напряжении глядел вслед уезжающим.

Когда ближе к полудню расположились на привал, Стёпа высказал с завистью:

– Коня и корову подарить чужому башкирцу!.. Простите меня за слово, но верно говорят – блаженный вы, Петрович!

Байбарин стал горячо говорить о справедливости – разнервничался. Показывал рукой на север, на пологие, а местами крутые холмы – отроги Уральских гор, – показывал на юг, куда уходило широко раскинувшееся поле, поворачивался лицом на восток:

– Всё это раздолье принадлежало башкирам, они – исконные хозяева этого огромного края! Я читал книги путешественников, да и старики вспоминали – какое невероятное было изобилие зверей, птиц, рыб... Роскошные пастбища, леса: оленей, лосей, косуль, кабанов, белок, лисиц – несметно! Все породы диких гусей, уток, куликов плодились тут и там... На лесистых холмах – пропасть тетеревов, в степи в великом множестве – дрофы, стрепеты, кроншнепы. Табуны башкирские ходили – взглядом не окинуть их. А как понаехали государственные чиновники (каждый второй – немец, – отчего и взялось название «Оренбург»), как полез народ с истощённых расейских земель, как стали хватать да гадить! Нынче поверь-ка, что водилась в здешних речках форель? В лесах нет ни оленя, ни кабана, ни медведя, ни диких пчёл, да и сами-то леса посократились изрядно. Сейчас поедem – будет бор. В мою молодость по нему катили целый день. А в прошлом году я был – и часу бором не ехал. И разор дальше идёт! Да притом как поступают с башкирами?

Работник пытался понять, к чему ведёт хозяин.

– Насчёт разора вы верно... Но по-чуждому выражаете: вроде сами вы нерусский.

Прокл Петрович махнул рукой:

– Уже слышал я это! Подумай над стихом – я прочту тебе. Его написал о здешних землях русский человек, в старину ещё написал: «Край вольных пастырей и паств! Прервут твой век благословенный добытки чужих богатств. Нахлынут жадными толпами, твоё раздолье полюбя, и не узнаешь ты себя под их нечистыми руками! Тук сей земли неистощённой всосут чужие семена, чужие снимут племена их плод, сторицей возвращённый!» – Байбарин с настойчивостью обратился к Стёпе: – Подумай, кто был здесь чужим в старое время? Переселенцы, что имели денежку на взятки чиновникам: россияне из-под Вязьмы, из-под Калуги, Курска, Твери!

Степуган догадался:

– Ага-ага! А вы – казацкого рода. Вы – на особицу.

Байбарин в досаде издал что-то похожее на рык.

– Мои предки – такие же незваные гости здесь! На мне – те же грехи!

Работник аж крякнул: не подозревал в хозяине этой страстишки – «представляться», валять дурака.

15

Спустя два дня беглецы достигли местности, куда уже распространялась власть белых повстанцев. Поздним вечером обоз остановился в большой деревне русских переселенцев. Здесь они должны были быть смиренными.

Байбарин попросился на ночлег к хозяину просторного, под железной крышей, дома. Высокий, с какой-то уклончивостью и будто бы апатией в облике поселянин увидел, что перед ним не нищие, и выказал гостеприимство. Его работник-парнишка, поймав выразительный взгляд, распахнул надёжные, навек сколоченные ворота. Хозяин велел пустить байбаринскую скотину в стойло.

Прокл Петрович, тёртый человек, предложил заранее рассчитаться, но поселянин хитро отводил взгляд:

– Чай, нас не гонят. Наедите, напьёте, животное подкормится – утречком и сосчитаемся.

Байбарин вслух, при хозяине, прикинул, какая может быть сумма, и протянул деньги. Мужик с вниманием глянул на царские рубли, но не отступил:

– Как так? Я не понимаю! Ничего этого не нужно, – обеими руками отталкивал руку с деньгами, посмеивался.

В горнице жена уже поставила на стол бутылку самогона, заткнутую капустной кочерыжкой. Хозяин, усаживая Байбариных, зыркнул вопросительно, покосившись на Степугана.

– С нами сядет! – приказал Прокл Петрович.

– Лишь бы как лучше дорогим гостям! – проговорил крестьянин со сладостью, бросил жене: – Щи уже простыли – живо согрей! – и опять улыбнулся Байбарину. – Уж мы знаем, как принять.

Взвизгнул поросёнок – лежал у печи на сермяжной подстилке. Хозяин пояснил: боленде, отпаиваем овечьим молоком. Велел бабе позаботиться о поросёнке – чугунок со щами принёс сам. Батрак тем временем слазил в подпол за студнем, сбегал в курятник за яйцами – жарить глазунью с салом. Варвара Тихоновна посетовала, обратясь к хозяину:

– Не такие уж мы, землячок, прожорливые. И грех ведь – пост!

Он возразил:

– Ничего-ничего, какие теперь посты? В дороге, коли выпало угощение – едят от пуза! – Сам не ел, не пил: помогал освободившейся жене обслуживать путников.

Степуган накрошил в миску со щами варёное мясо, так что щи едва не перелились через край, хватил стакан самогона и навалился на еду. «И умещается!» – поражался Прокл Петрович, в то время как Стёпа с неослабным усердием поглощал одно, другое, третье...

Изба была щедро протоплена, и гостей прошиб пот. Варвара Тихоновна, довольная, сказала:

– Уж как иззяблась в дороге! Теперь лицу тепло, а кости ещё только отогреваются. – Попросила прощения, что хочет лечь пораньше.

Хозяйка предложила ей спать на печи. Пока Варваре Тихоновне помогали на неё влезть, Степуган захрапел на тулупе. Прокл Петрович присел на лавку, где ему постелили постель. Подошёл, держа подмышкой толстую Библию, хозяин, опустился на табуретку.

– Вы, сударь, как грамотный и обходительный, то я смею вас по вашему образованию спросить... Вы как казак лишены через красных земли и спасаетесь?

Байбарин кивнул, и поселянин, сдерживая чувства, договорил:

– Значит, правда отнимают землю у казаков.

Прокл Петрович поправил:

– Не у казаков отнимают, а у всех мало-мальски состоятельных хозяев! Вот у вас сколько десятин?

Мужик с неохотой сказал:

– Что обо мне говорить?.. Ну, сыновей я отделил... и осталось у нас на двоих сорок десятин с небольшим.

«Насколько убавил?» – подумал Байбарин.

– И вы надеетесь, что на вас, двоих едоков, сорок десятин оставят?

Хозяин, не веря казаку, пробормотал не без насмешки:

– И то назвать – богатое имение: сорок-то десятин!.. – ему хотелось переменить тему, и он раскрыл Библию. – Я всё разбираюсь и давно за жизнью слежу по Писанию, – прищурившись, стал читать: – Один овен стоит у реки... с запада шёл козёл и, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него.

Крестьянин смотрел на Прокла Петровича ясным, уверенным взглядом:

– Таковое видение пророка Даниила. Для нас следует, что овен – это казак. А козёл – пахарь, к примеру, как я: пришлец из Орловской губернии. Вот и поймите, чья будет победа!

Байбарин старался спрятать волнение:

– А про башкир почему не поясняешь?.. как они голодают...

Мужик презрительно обронил:

– У них зимой от бескормицы лошади, овцы, как мухи,дохнут! И сами башкиры – старики – бывают чуть живы.

Прокл Петрович со строгостью сказал:

– На месте их пастбищ – чужая пашня! – и попросил Библию. Найдя нужное, прочёл: – Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остаётся места, как будто вы одни поселены на земле.

Хозяин взял у гостя книгу, въедливо перечитал, лукаво улыбаясь. Думал: «Видать, было у тебя не менее полтыщи десятин. Притеснял голытьбу, батраков голодом морил, а как отобрали землю – Бога вспомнил! Обличения покаянно на самого себя читаешь – авось Бог простит, и вернётся земля».

Поутру он потребовал с постояльцев раза в четыре больше, чем, с учётом дороговизны, прикидывал Байбарин. Тот хмыкнул:

– Я ожидал – втрое запросишь, а ты похлеще хват! Таких денег не дам!

Поселянин не удивился. Глянул на своего батрака, что возле хлева точил вилы, кивнул на закрытые ворота.

– Не отопру! Хотите – перелезайте и идите пешком жаловаться вашим. Пуцай меня накажут! Но есть и другая власть, за ней – вся Россия!

Прокл Петрович поморщился и швырнул деньги, желая как можно скорее уехать. Сколько уж раз пришлось ему испытать это жгучее, тяжёлое чувство. Скорый отъезд – средство, которое и в былые времена помогало утишить безысходную душевную тошноту.

16

Надо заметить, Прокл Байбарин вообще был охоч путешествовать. Его детство проходило близ Балтийского моря. С первой поездки, в которую взял его с собой отец, помнится чистая мощёная дорога, могучие частые дубы по сторонам, красивые витые из медных прутьев ворота, громадная красновато-бурая, с белым пятном на ляжке корова, её набухшее розовое вымя. К отцовским дрожкам подошёл дородный господин, обутый в башмаки с жёлтыми гетрами, одетый так богато и с такими закрученными усами, что мальчик решил – это сам барон, к которому у отца есть дело. Неожиданно господин снял шляпу и почтительно поклонился. То был старший слуга барона...

Отец Прокла, по происхождению казак, способный образованный человек, служил в гарнизоне Риги, занимаясь его продовольственным и вещевым обеспечением. Старшего Байбарина снедал страстный интерес к тому, как ведут хозяйство лифляндские землевладельцы, он ненасытно восхищался их плугами, боровами. Негодовал, что в России убеждены, будто «Европа нашим хлебушком жива».

– Не хотят и знать, что, к примеру, в Восточной Пруссии с нечернозёмных бедных земель берут урожаи прекрасной пшеницы, неслыханные для российского тучного чернозёма!

Когда отцу приходилось съездить по делам в Россию, он возвращался чуть не в нервном расстройстве:

– Отдельные люди стараются, но косность и головотяпство зажимают прогресс. Куда ни глянь – всё то же неустройство. Чем дольше живёшь, тем гаже становится.

Сталкиваясь с очередной «гадостью», Байбарин-старший бывал упрямо-непримирим. В полковом хозяйстве голодных бычков выгнали пастись, не позаботившись сначала сводить их на водопой. Паслись бычки в зарослях отавы, наелись этой грубой травы – и животы у них вспучило. Животные погибли. Их мясо местное начальство велело отправить на солдатскую кухню.

Узнав об этом, Байбарин, как и при других подобных случаях, «раздул» дело... Он мешал сослуживцам жить, слывя «чистоплюем», «ходячей занозой», «злостником». В конце концов обзавёлся влиятельными врагами, и его вынудили уйти в отставку. Перебравшись с семейством к себе на родину в Оренбург, искал место управляющего у здешних капиталистов. Наружно не набожный, в глубине души продолжал верить в «честный пример» и возможность «хорошего и правильного жизнеустройства». Он вчитывался в Библию, стремясь по-своему уяснить её образы и притчи (чем подал пример сыну), остро интересовался людьми, которым вера помогала «держаться смысла» среди «неразрешимости явлений».

К нему между тем приглядывался, навёл о нём справки богатый купец-старообрядец. Взяв Байбарина на службу, убедился, насколько полезен этот многоопытный, умелый в делах и притом не крадущий человек. Тому, в свою очередь, стали симпатичны «не потерявшие устоев» старообрядцы, он принял их веру.

Однажды на Пасху, когда Байбарин выходил с купцом из церкви, тот неожиданно объявил:

– За честность даётся вам, раб Божий Пётр, награда!

Он знал о мечте управляющего: накопить денег на покупку имения и устроить образцовое хозяйство. По-видимому, несмотря на всё тщание в трудах, тому недоставало бы века – заработать необходимую сумму. Но купец помог, и около станицы Изобильной были приобретены тридцать семь десятин земли. Пётр Байбарин, будучи уже пожилым, успел поставить в станице дом, как заболел горячкой (ею в обиходе именовали воспаление лёгких). Подняться ему не довелось.

17

К тому времени жизнь порядком поиспытала Прокла. Он напоминал один из тех «непостижимо неожиданных» характеров, что отчасти запечатлели себя в русской житийной литературе – предоставив богатые возможности вообразить человека, который, пройдя солдатчину, побывав в плену, а нередко и в разбойниках, становился монахом и приступал к жизнеописанию: житию. Размышления о перенесённом обыкновенно соседствуют здесь с описанием детских переживаний, которые (не будь они затаёнными) весьма раздражали бы окружающих.

Так, Прокл Байбарин с раннего детства был пронзительно жалостлив. Когда резали свинью, убегал куда-нибудь подальше, чтобы не слышать её визга. Ненавидел охотников. Если предстало перед глазами окровавленное убитое животное, обращался к словам Екклесиаста: «Нет у человека преимущества перед скотом, как те умирают, так умирают и эти. Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?»

Взрослея, стал особенно болезненно таить в себе ранимость, боясь, что его сочтут «немушественным». Из вызова себе («надрыва» – как стал он об этом думать впоследствии) улизнул, бросив гимназию, в Туркестан и семнадцатилетним волонтёром совершил с отрядом генерала Скобелева поход 1875–76 годов на Коканд. Удостоенный медали «За покорение ханства Коканского», Байбарин скрыл, что его отец – старообрядец (раскольникам выход в офицеры был заказан) и окончил Казачье училище. Однако, как ни превозмогал он себя, душа не принимала порядков и духа воинской службы. Об участии в походе, когда плодородная Ферганская долина была вытоптана, думалось с отвращением. Нагляделся до мути на заколотых штыками, на зарубленных местных жителей, которые восстали против своего правителя Худояр-хана и претерпели кару от русских. Солдатские лица в их большинстве казались Байбарину добродушными, и его поражало: сколько злобы открывалось в этих людях, стоило им войти в селение нищих дехкан, с каким азартом солдаты, исполняя приказ офицера (зачастую немца русской службы), преследовали и убивали прячущихся – будь то женщины, старики, малые дети...

Не находя мира с собой, Байбарин искал пекла: пошёл в войска, которые отправлялись штурмовать труднодоступную туркменскую крепость Геок-Тепе. После её взятия в 1881-м – доказав, что храбрости ему не занимать, – уволился в отставку в чине хорунжего. Отзывчивость на чужое страдание привела его к тому, что он сделался ходоком по делам обиженных («Открывай уста твои за безгласного», – сказано в Священном Писании). С прошениями, ходатайствами челночил он по присутственным местам, досаждал судьям, стучался в двери к самым высокопоставленным сановникам.

В этом занятии перемещался по России, обычно оставаясь в том или ином городе до неодолимой неудачи. Она погружала в маетное состояние расстройство, когда помогала дорога: он переезжал из Перми в Екатеринбург, из Читы в Хабаровск. В такие шаткие периоды постился, не употребляя в пищу ничего, кроме ржаного хлеба. Но с опытом удачи всё вернее преобладали – и Проклу Петровичу счастливо чувствовалась осмысленность жизни.

Он брал с более-менее имущих умеренное вознаграждение; тем, кто ничего не имел, помогал бесплатно. Заработка хватало, чтобы прилично одеваться. Долговязый, гибкий, с тёмными горячими глазами, он одержал немало сердечных побед.

Солнечным, ещё тёплым днём осени, когда расцветали астры, Байбарин познакомился на народном гулянии в самарском городском саду с Варварой. Воздушное белоснежное платье, доходившее до щиколоток, делало её, рослую, ещё выше и стройней. Широкополая соломенная шляпа, отделанная палевой лентой, подчёркивала зеленоватый блеск её глаз. Поверх платья на девице была узкая кружевная блузка, и она тоже очень шла ей.

У давнего холостяка стала крепнуть мысль о женитьбе. Родители Варвары были старообрядцы, но не из истовых – многих запретов не соблюдали. Отец девушки, служивший старшим

приказчиком у владельца нескольких москательных и скобяных лавок, не пришёл в восторг, когда выяснил имущественное положение Байбарина. Дочь, однако, была влюблена в него. Родитель, желавший для неё не такого жениха, не уступал.

Тогда Байбарин решился на манёвр: взялся похлопотать для владельца лавок по одному запутанному тягомотному делу. Он здорово поусердствовал – тяжба выигралась, после чего произошёл разговор хозяина с приказчиком. Отцу Варвары было объяснено: бедность Байбарина проистекает всего лишь от доброты – мало берёт!

– От тяги к вину нельзя отбиться, а от доброты – можно, – заключил купец. – Станет брать как положено – к моим годам богаче меня будет.

Приказчик отметил выражение убеждённости на лице богача – и весной Варвара была выдана за Прокла Петровича. В медовый месяц, когда молодожёны отправились в путешествие на пароходе по Волге, их нагнала весть о кончине Байбарина-старшего. Тот оставил сыну имение и наказ: «сделать культурное хозяйство». В последнее время Прокл и сам подумывал «сесть на землю». Он и жена приехали в Изобильную, преисполненные охоты вьестся в труд.

У Прокла имелись две младшие замужние сестры: одна жила в Саратове, другая в Воронеже. Чтобы стать полноправным владельцем имения, надо было выплатить им по трети от той суммы, в какую оценивается земля.

Молодожёнам пришлось впрячься в крестьянскую работу, а мысли о технических новшествах отложить – нет на них денег. В муже и жене оказалась заложенной страсть к земле, благодаря своему рвению они стали уважаемой семьёй в Изобильной. Прокл Петрович к тому же, когда просили, писал за притеснённых жалобы, давал советы, всегда к месту цитировал Священное Писание, чем вселял трепет в старообрядцев.

Вскоре в станице прижилась потребность отзываться о нём почтительно. Небольшой чин, в котором он вышел в отставку, получил несвойственное ему значение. «Хорунжий!» – произносилось с той серьёзностью, с какой говорят: «Атаман». И, что было неслыханно, любой местный богачей первым снимал шапку перед отставным хорунжим: имея пахоты вчетверо больше, чем он.

В несколько изнурительных лет Байбарин рассчитался с сёстрами. За это время умерла жившая с ними мать – она непрестанно брюзжала, очень недовольная крестьянским бытом. Варвара Тихоновна родила дочь, а там и сына: росли крепкими.

Прокл Петрович сумел выиграть десяток казавшихся бесконечными тяжб, и его, «народного стряпчего» (так писали о нём губернские газеты), принимали в Оренбурге чуть не все влиятельные люди. Он продумывал планы, как преобразовать хозяйство, и часто ездил к передовому хозяину Михаилу Артемьевичу Калинчину.

Трудолюбивый, предприимчивый Калинчин был известен гостеприимством и открытостью. Владея помещьем в шестидесяти верстах к западу от Оренбурга, он с четырёх тысяч десятин не лучшей земли снимал урожаи, вызывавшие зависть соседей, причём и тех, кто имел более десяти тысяч. Работники Михаила Артемьевича пользовались первоклассным инвентарём, в хозяйстве исправно действовали паровые молотилки, производственный (мельничный) элеватор, построенный по последнему слову западноевропейской техники. Сам Калинчин умел поработать и за механика, и за бухгалтера.

Небольшого роста, но отнюдь не шуплый, он был тщательно выбрит даже в разгар хлебоуборки, когда показывал приехавшему Байбарину очередные усовершенствования:

– Нынче у меня и куколеотборники действуют от электричества!

– Ну-ка! – моментально вырвалось у гостя, чьё нетерпение объяснялось жизненно важной задачей куколеотборников. Если семена куколя, зловредного сорняка, попадут, пусть и в малом количестве, на перемол вместе с зерном, мука окажется отравленной. Поев испечённого из неё хлеба, можно слечь.

Хозяин повёл Байбарина на элеватор. Гость так и залюбовался: полновесное пухлое зерно рекой шло на очистку; огромные тяжёлые блестящие барабаны, медленно вращаясь, выливали в одну сторону поток чистой золотисто-серой ржи, а в другую – иссиня-чёрную струю куколя. Из-под куколеотборников горячая от всей этой перетряски рожь снова поднималась под самую крышу мельницы, где её в открытых жёлобах, в прохладном токе электрических вентиляторов, винты Архимеда двигали к цилиндрическим резервуарам (силосам), куда зерно падало обильным дождём.

Калинчин упёр в бока боксёрские кулаки.

– Намедни здесь был – кто, вы думаете? Князь Белосельский-Белозерский!

Прокл Петрович заинтересовался:

– Я знаю, он командирован в нашу губернию...

Разговор происходил в конце июля 1904. Россия увязала в войне с Японией, всё государство окружение демонстрировало патриотизм. Князь Белосельский-Белозерский вызвался возглавить комиссию по закупке провианта и фуража для действующей армии.

* * *

Спустя неделю после поездки к Калинчину хорунжий посетил по делам Оренбург и увидел в дворянском собрании князя: стареющего, с животиком, мужчину – напудренного, с подкрашенными бакенбардами, стриженного под машинку предельно коротко, чтобы сделать незаметным намёк на плешь. Его сиятельство, выступив, похвалил дворянство и казачество «за верноподданническое служение на благо Российской империи», а затем, отмечая «добро-совестных тружеников губернии», назвал и Михаила Артемьевича Калинчина. Стало известно: комиссия, закупая у него рожь, выделяет ему поощрительную доплату за качество зерна.

Вскоре, однако, Прокл Петрович прослышал: другие землевладельцы, что продали зерно невысокого качества, получили из государственной казны ту же самую доплату. Князь Белосельский-Белозерский принял от них взятку.

18

Прокл Петрович примчался к Калинчину. Гостя встретил изжелта-бледный осунувшийся, больной человек. Байбарин едва не воскликнул: «Вы ли это, Михаил Артемьевич?!» В кабинете, плотно закрыв дверь, хозяин излил душу. Все его достижения князь использовал, чтобы обосновать перед комиссией доплату как прогрессивную, государственно мудрую благородную меру поощрения. За этим «благородством» стояло желание жирного куша, какой и хапнул князь с десятков поставщиков. Самое же страшное: многие поставщики решили – коли они дали взятку, об очистке зерна заботиться излишне. Их засорённая куколем рожь была смешана с той отборной, которую продал Калинчин.

Он то хватался за голову, то яро обмахивался полотенцем, будто в кабинете стояла духота.

– Меня попросту употребили для наживы! Там, в Маньчжурии, солдаты будут массой попадать в лазареты, причина вскроется – среди поставщиков назовут и моё имя... О-о, позор!

Байбарин осторожно и вместе с тем требовательно остановил:

– Простите, вы о слухах или есть доказательства?

Приятель доверительно назвал нескольких лиц: также и тех, кто занимался погрузкой и перевозкой зерна. В голове Прокла Петровича взвихрились мысли. Он взволнованно воззвал к гордости Калинчина: уж не собирается ли тот, богатый, влиятельный человек, сдать? Помещик разбито ответил:

– Вам ли объяснять: что значат моё состояние, местные связи перед положением, именем... – он не стал его повторять.

Распавшийся хорунжий воскликнул:

– Ничего не предприняв, отдаться панике?

Он убедил Калинчина дать ему «полномочия на хлопоты» и, посетив в губернии людей, какие должны были пригодиться, поехал в Петербург. Здесь ходил по приёмным, вручал рекомендации, уговаривал, просил... В конце концов, проявив всю свою недюжинную настырность, ходатай добился того, что его провели к коменданту Зимнего дворца. Прокл Петрович красноречиво обрисовал его превосходительству суть дела, особенно упирая на то, «что тысячи русских воинов, идущих на вражеские пули, обречены есть хлеб с отравой», и передал пространную жалобу на князя Белосельского-Белозерского, подкреплённую свидетельствами нескольких мужественных людей.

– Ваше превосходительство, можете обещать мне, что эти документы дойдут до государя императора?

Речь Байбарина подействовала на коменданта, и он внушительно заверил: бумаги будут доставлены его величеству.

Четыре дня ждал Прокл Петрович ответа, жил в номерах на Большой Вульфовой улице, неподалёку от Аптекарского моста. Рано утром раздался требовательный стук в дверь – Байбарин крикнул с постели:

– Я раздет!

– Так оденьтесь скорее! – повелительно произнёс голос за дверью.

Спустя пять минут в номер вошли жандармский штаб-офицер в дорогого сукна пальто с золотыми погонами, два ражих жандарма и два господина в партикулярном, одетых у превосходного портного. Штаб-офицер, видный, надменный, лет тридцати с небольшим, спросил резко, зло и презрительно:

– Байбарин Прокл, сын Петров?

– Он самый. К вашим услугам.

– Предъявите все вещи для осмотра.

«Стряпчий», в первую минуту немного растерявшийся, запальчиво потребовал:

– Где основания, что это не произвол?!

Офицер уставился на него вдруг побелевшими бешеными глазами:

– Молча-а-аь!!! – обтянутая белой перчаткой рука сжалась в кулак.

Два жандарма схватили Байбарина своими ручищами, а один из агентов бесцеремонно обыскал его. Второй принялся рыться в вещах. Прокл Петрович выворачивался, как уж, всеми силами пытаясь освободиться:

– Я жаловался его величеству императору! От него скрывают, но до него дойдёт...

Штаб-офицер усмехнулся высокомерно и ненавидяще:

– Я исполняю высочайшую волю! И совету быть спокойнее – если не желаете угодить в сумасшедший дом.

Слова о «высочайшей воле» подрезали ходатая. Однако он старался, несмотря ни на что, не уронить себя:

– Па-а-звольте, ваше имя?

Офицер сделал знак, и Байбарина повернули, держа за руки, к стене, притиснули к ней носом. Только после этого хорунжий услышал чётко и гордо произнесённое:

– Подполковник жандармского корпуса барон фон Траубенберг!

У Байбарина забрали, за исключением паспорта, все бумаги и даже письменные принадлежности. Затем ему было сказано:

– Сейчас вы отправитесь с нашим служащим на вокзал и незамедлительно покинете Санкт-Петербург! Вам оплачен проезд в вагоне второго класса до станции Тосно, – подполковник протянул железнодорожный билет.

Это могло свидетельствовать, что жалоба действительно попала к царю. Прогоня «народного стряпчего» прочь, государь сопроводил высылку поистине царственным жестом. Обида, возмущение разрывали грудь Байбарина, и он излил это в возгласе:

– Почему – Тосно? Что мне делать в Тосно?

– Катиться оттуда, куда будет угодно! – с холодным безразличием указал фон Траубенберг.

Агент в щегольском костюме, взяв извозчика, проехал с Проклом Петровичем на Московский вокзал. В купе франтоватый господин, усаживаясь, упёр в пол модный дорогой зонт, который, будучи сложенным и помещённым в футляр, выглядел тростью, накрыл рукоятку ладонями и принял непроницаемо-скучающее выражение. Байбарин был вынужден притворяться таким же спокойным. По его требованию, помощник кондуктора принёс ему билет до Москвы. Господин, выходя в Тосно, сказал вместо прощания:

– Советую не задерживаться в Белокаменной. Езжайте домой! В Петербурге, в Москве никогда больше не показывайтесь!

19

Марат показался Юрию в то утро юношески воодушевлённым. Предстояла очная ставка Сотскова с Ньюшиным. В столовой НКВД завтракая с приятелем, Житоров возбуждённо глянул ему в глаза:

– Много бы дал, чтобы присутствовать? Но... и ради тебя не могу нарушать.

Вакер вяло кивнул, подумав: «Знай, что непременно блеснёшь, – нарушил бы». Томясь и подгоняя время, он занялся тем, ради чего его сюда направили: материалом для очерков «Дорогами революционного отряда». Вспоминая героизм Житора и его красногвардейцев, требовалось рассказать, какая, благодаря заботам партии и правительства, благословенная колхозная жизнь расцвела в местах, где восемнадцать лет назад беспощадно столкнулись новое и отжившее старое.

* * *

Марат многое связывал с этим днём. От избытка трепетного огня он едва не вскочил из-за стола, когда к нему, в специально предназначенный для допросов кабинет, привели Ньюшина.

Видать, в своё время это был казак большого здоровья, «дядя, что надо». Но сейчас Житоров отметил: исхудавшее лицо с землистым оттенком, глаза заморённо запали.

– Пра-а-шу садиться! – проговорил ехидно, натянуто-звонящим от нетерпения голосом.

Казак сел на табуретку, положив тяжёлые руки на колени, тягостно смотря в пол. На остриженном под «нулёвку» черепе белели два шрама: вероятно, следы клинка.

– Расскажите, как вы решили вернуться на родину!

Ньюшин не поднял глаз:

– Много раз рассказывал, гражданин начальник. Всё у ваших записано. – Голос захирел в покорности.

– А вы лично мне расскажите. Уж уважьте! – Марат подчёркнуто говорил «вы», играя издевательски-любезной интонацией.

Арестованный сказал с тоской:

– Никому не дай Бог по чужбинам странничать, быть бездомным и для людей чужим. Всяко натерпелся. Конечно, мечтал про родину, думал... А тут ваши послы сагитировали, обещали...

– Дальше пока не будем! – прервал Житоров. – Остановимся на ваших словах, что всегда вы желали на родину. Было?

– А как иначе?

– Тогда почему вы на родине, в станице Изобильной, носа не показали, а хотели затеряться в Ташкенте?

Ньюшин не глядел на начальника. Молчал.

– Боялись?! – в крике выразилась высшая степень злорадства.

Пригнув придавленно голову, арестованный стал объяснять:

– Мать умерла ещё в германскую войну, отца убили ваши в девятнадцатом... Два брата были со мной у Дутова – убиты в боях. К кому мне ехать-то в Изобильную?

– У вас сестра имеется, – напомнил Марат; он не сказал, что сестра Савелия и её «кулацкая» семья были отправлены в тридцать первом году к низовьям реки Лены.

Ньюшин ответил со старанием передать искренность: сестра, по его предположению, должна быть замужем за советским; зачем же ему, бывшему белогвардейцу, бросать на неё тень своим появлением?

Житоров подпустил в крик бешенство нападения:

– Не вра-а-ть!!! Ты боялся – в Изобильной тебе припомнят эпизод... как ты, вместе с другими, предательски напал на отряд Житора!

Внезапно арестант тоже закричал, и неожиданно громко:

– Не участник я ни сном, ни духом!

Марат едко рассмеялся.

– Сотсков Аристарх повинился, всё нам раскрыл. О тебе – тоже!

Казак был обречённо нем. Наконец медленно, будто в сомнении – говорить или нет, – произнёс:

– Обо мне он может одно сказать: оно вам и так известно. Да, был я у Дутова, воевал с вашими.

Житоров отрицательно помотал головой:

– Нет-нет, не это! Сотсков раскрыл, как ваша банда тайно готовилась напасть на отряд... как ты добивал раненых...

– Не было этого! – теперь Ньюшин смотрел противнику в глаза. – Зазря на пушку берёте.

Тот, сидя, с необычайной быстротой пристукивал сапогом по полу.

– Чернуху налил на тебя?! – и как бы изумлённо выпучил глаза. – Значит... – продолжил в остром волнении, словно ухватывая догадку, – сам он был среди напавших? Убивал?! Что же ты молчишь о нём – могилу себе роешь? Чтобы его спасти?

Арестант как-то весь потемнел.

– Зря вы, гражданин начальник. То, что про Сотскова сказали, я про него не знаю!

Марат, жгуче подброшенный порывом, взлетел с места:

– Шаликин!

Лейтенант Шаликин и двое конвоиров ввели в кабинет Сотскова. Тот, сделав два шага, увидел земляка и оцепенело остановился. Ньюшин смиренно произнёс:

– Вот, привёл Бог свидеться.

Аристарх ответил опустошённо:

– Здравствуй, Савелий. Помоги нам Бог!

Сотскова толкнули в спину:

– Ну-ну-у!!

На середину кабинета передвинули стоявший у окна небольшой стол. Арестантам было приказано сесть за него друг против друга. У каждого за спиной встал чекист.

Житоров подошёл сбоку к Ньюшину, а руку протянул к лицу Сотскова, защемил у того нижнюю губу большим и указательным пальцами. Аристарх не шелохнулся.

– Что же ты мою руку не отведёшь? – Марат улыбался улыбкой неумолимо-лютого вдохновения и, не выпуская губу арестанта, повернув лицо к Ньюшину, прошептал одержимо-убеждающе:

– Гляди! Он говорит, ты причастен к гибели отряда.

Сотсков пытался возражать – его тянули и дёргали за губу. Он, не смея с силой схватить, взял обеими руками руку чекиста, однако тренированные железные пальцы не разжимались.

Будто из-под спуда вырвался мучительно-упрекающий голос Ньюшина:

– Пустите его, гражданин начальник, пусть он мне в лицо скажет!

– Скажи! Скажи ему! – Житоров, выпустив губу Сотскова, без взмаха ударил его кулаком по носу.

Скрежетнувший болью вскрик, казалось, родился где-то рядом с человеком, что залился кровью помертвело-беззвучно. Кровь бежала из носа, струилась изо рта: нижняя губа полуотдранно отвисала страшным комком. Сплёвывая, не утираясь, Аристарх одеревенело, не двигая ртом, выговорил:

– Нет ни одного мово слова... против тебя, Савелий.

Марат, клоня торс, бросил над столом руку – в правое подглазье Сотскову. Конвоир у того за спиной не дал ему упасть, схватил за уши. Избитый прохрипел Ньюшину:

– Показываю лишь правду: в Буранной ты был!

Житоров метнулся к своему столу, рванул дверцу тумбы, выхватил стальную трубку, на которую был натянут резиновый шланг.

– Выручаешь поделника? Заботишься? – плеснул глумливой злобой в окровавленного. – Так пусть будет ему хорошо-оо! – повернулся к Ньюшину, сплеча рубнул его трубкой по скуле.

Казак качнулся в сторону и усидел на табуретке. Марат странно, словно собираясь что-то съесть, приоткрыл рот, на побелевших щеках резко выделились розовые пятна. Савелий не пытался прикрыть голову руками – после пятого или шестого удара повалился боком на пол. Житоров самозабвенно наотмашь бил и бил его трубкой...

20

Вечером у начальника не нашлось времени встретиться с Вакером. Тот, втуне призывая сон в номере гостиницы, изнемогал от любопытства. Утром был занят сам, а когда пришёл обедать в столовую НКВД, куда его пустили «как своего», Житоров не показался. За одним столом с гостем обедал оперативник из тех, с кем ездили в колхоз «Изобильный». Вакера неприятно сосало: тот видел, как ему вlepили пощёчину. Казалось, чекист посматривает не без презрения.

Юрия развлекло появление давешнего ветхого старца с бидончиком. Чекисты принялись с живостью затейников подтрунивать над ним.

– Ты свою Устинью маленько мнёшь?

Старик, очевидно, не понимая, кивал, покашливал. Молодой типчик сказал ему в ухо:

– А девку потрогал бы?

Кругом захохотали в удовольствии здоровья и силы. Дед бормотал какую-то невнятицу. Раздатчица отрезала ему хлеба, положила сверху шинель. Старик трясущимися руками протянул бидончик, иссечённое морщинами лицо тронулось радостью от слов женщины:

– Сегодня у нас флотский борщ!

Вакер нашёл: в борщ не мешало бы добавить перца – пресноват, что непростительно для учреждения, в чьих стенах его готовили.

Допив какао, он отправился в киоск за газетами. Под ногами позванивал ледок, и следовало скорее ожидать снега, чем дождя. Купив «Правду», «Известия» и пару местных газет, Юрий приметил: от здания НКВД удаляется старческая фигура в шинели. Вакеру, щедро наделённому любознательностью, не захотелось терять деда из поля зрения. Наверно, он живёт где-то поблизости? Однако тот брёл и брёл всё дальше...

Юрий пару раз едва не бросил его, но мешал вопрос: что связывает это существо с грозным НКВД?

Шатко ступающая фигура достигла кладбища. Пройдя старую его часть, где там и сям, на месте богатых каменных памятников, валялись кучи мусора, человек в шинели приблизился к забору. В нём оказалась калитка, старик скрылся за ней. Переждав немного, Вакер прошёл в неё. Старец брёл узкой тропкой, что убегала вдаль, петляя среди обширных по площади углублений.

Вскоре Юрий поравнялся с одним из этих четырёхугольников размерами примерно двадцать шагов на десять. «Братскую могилу не засыпали как следует!» – клюнула догадка.

Он увидел впереди людей с лопатами. «Ещё одну копают...» Вдали протянулась линия забора, за нею темнел лесной массив. Поодаль от могильщиков застыло несколько фигурок; журналист почувствовал – эти люди смотрят на него. Вдруг он заметил двух несущихся в сжатомолчаливом бешенстве овчарок – его чуть не кинуло бежать что есть духу назад, к калитке... мозг подсказал: собаки настигнут раньше. Пистолет (Марат возвратил его после поездки) от греха подальше был засунут на дно чемодана, и сейчас Вакер смертельно обессилел в ужасе.

Первой к нему мчалась овчарка с чёрными лбом, спиной и с песочной грудью. Он не помня себя прижал руки в перчатках к паху:

– А-а-aaa!!!

Издали донеслись голоса: окликали собак. Если окрики и повлияли, то лишь отчасти. Пёс рванул клыками полу реглана и, оказавшись за спиной человека, остервенело взрычал. Вторая овчарка в шаге от Вакера (он уже видел, как она прыгнула и сейчас вцепится в горло) припала к земле, не прыгнув, беснуясь в хрипато захлёбистом лае.

Подходили люди – без энтузиазма урезонивали собак. Мужчина в демисезонном пальто, в галифе, в сапогах угрожающе спросил Юрия:

– Что ищите?

- Уберите ваших зверюг... Я журналист из Москвы! Меня чуть не разорвали...
- Документы! – обрезал мужчина.

Удостоверение едва не выпало из дрожащей руки Вакера. Его повели к видневшемуся забору. Овчарок взяли на поводки, но они не переставали рваться к нему, он то и дело нервно отскакивал. Улучив момент, обратился к человеку в галифе:

- Видите ли, я лично знаком с товарищем Житоровым, с Маратом Зиновьевичем...
- Мужчина ковырнул его взглядом. Журналист постарался улыбнуться по-свойски:
- Марат Зиновьевич не похвалит, что меня волкодавами травят...
- Ответа не последовало.

Вышли за забор. Юрий увидел справа косенькую сколоченную из горбылей будку, над асбестовой трубой курился дымок. Дверь будки отпирал дед в шинели, к этому времени добравшийся сюда.

Слева подальше десятка три рабочих в чёрных бушлатах спиливали сосны, расчищая площадку. На воз, запряжённый неказистой лошадкой, грузили обрубленные сучья. Тарахтел мотором полуторатонный грузовичок. Рядом стоял «чёрный ворон».

Люди, что задержали журналиста, отошли к машине, уводя, на радость ему, собак. Он понимал, что пока ещё не отпущен восвояси. Привлекая к себе внимание, помахал рукой и, крикнув: – Я погрёюсь! – направился к будке.

Знакомая фигура склонилась возле печурки, в которой догорали угли. Старец положил на них пару чурок и только тогда повернулся к вошедшему. Тот сказал с деланной приподнятостью:

– Вот, дорогой товарищ, зашёл к вам в тепло! – глядя на деда, гость чувствовал, что почти оправился от передрыги: сейчас он расколет «загадочную личность».

Старик уселся на самодельную скамейку; напротив стояла такая же. Поперхав, проговорил надтреснутым голосом:

- Чего... в ногах правды нет.

Юрий понял, что его пригласили сесть.

– Спасибо, товарищ! А и разбаловался народ! среди бела дня брёвна воруют? Нагнали оперов с волкодавами! Что ж ты сам-то плохо сторожишь? – говоря, заметил: глаза деда в мешках и складках не потеряли живости.

Старик сказал одобрительно:

- Хорошее на тебе пальто! Кожа свиная?

– Верблюжья! – Вакер с сожалением смотрел на полу: в ней зияли отверстия от клыков пса.

Подумалось – а у собеседника-то, вопреки дряхлому виду, мозги ещё не сгнили. Тот молчал, и гость повторил шутливо: отчего же эдакий матёрый, закалённый зверолов сторожит никудышно?

Не слышишь, понятно... В голове Юрия билось: «Расстреливают пачками, поди, ежесуточно! Зарывать не успевают. А этот отгоняет от мертвецов бродячих собак – чтобы человечьи обглоданные руки на дороге не валялись».

Гость попробовал окольный подход:

- Кто ж, когда тебя не было, печку топил?

На этот вопрос дед отвечал охотно:

– Устя, баба моя! Придёт, затопит – и ушла на жизнь добывать! Молодая, быстрая. Я ей грю: ешь, чего надо жевать, а хлёбово мне оставляй. На что тебе жидкость? Она – не-е! весь приварок съедает.

Журналист нашёл занимательными и слова «молодая, быстрая», и всю характеристику, загорелся слушать дальше, но в будку вошёл давешний мужчина в галифе.

- Об чём разговор? – ощупывал острым, подозрительным взглядом лица беседующих.

– Я грю, Устя как станет хлебать...

– Э-ээ! – опер махнул на деда рукой: знаем, мол! а Вакеру сделал знак выйти наружу. – Сейчас полуторка пойдёт в управление – на ней поедете. Там разберутся.

* * *

Грузовик не остановился на улице, а въехал во двор учреждения; глухие металлические ворота тут же закрылись. Юрий вылез из кабины – выпрыгнувшие из кузова оперативники повели его в двухэтажную с мощными стенами пристройку, что тянулась от главного здания.

Сошли в полуподвальную комнату: стены на высоту человеческого роста были выкрашены масляной кофейного цвета краской. На треножнике стоял цветочный, ведра на два земли, вазон, откуда, видимо, давно вырвали высохший цветок; окаменевшую, в трещинах, землю усыпали окурки.

Вакер увидел открытую в другое помещение дверь: там на раскладушке кто-то спал, укрывшись казённым, без пододеяльника, одеялом. Из другой двери появился Шаликин – он выглядел измотанным, однако рассмеялся дежурно-дружелюбным смехом:

– Быстры вы, журналисты, быстры-ыы! Опять с вами трудность! – с видом несерьёзности пожимал руку Юрию, который, в свою очередь, кивал и смеялся – отметив это «опять». – Товарищ Житоров просит вас подождать его. Ну... до встречи! – и Шаликин увёл с собой парней, что привезли Вакера.

Они скоро вернулись: двое зашагали к выходу, а один забежал на минуту в помещение, где стояла раскладушка. Там в глубине уселся на стул дядька в гимнастёрке, закурил и принялся, углубясь в занятие, пускать ртом колечки дыма. Вакер понимал, что это – ненавязчивое, косвенное наблюдение.

Он с фамильярной беспечностью прохаживался перед окном, чей нижний край приходился вровень с асфальтовым покрытием двора; снаружи окно прикрывала литая решётка. Думалось: из-за своего происхождения, из-за того что дед по матери – видная кремлёвская шишка, Марат всегда был агрессивно-самоуверенным, чванливым.

Их студенческую пору озарял знаменательный эпизод. Марат отбил у друга красавицу, которая приняла во внимание, из какой семьи Житоров. Вакеру пришлось удовлетвориться её подружкой – смазливенькой, тогда как уведённая была неотразимо «изюмистой». Чёрное чувство давало себя знать, и однажды он не совладал с ним и расписал своей девушке: друг якобы рассказывает ему про все «штучки», какие они с возлюбленной выделяют...

Девушка передала подруге, и, когда Юрий вечером входил в подъезд общежития, навстречу шагнул поджидавший приятель: ни слова не обронив, двинул правой в челюсть (занятия спортом не пропали зря). Он помог оглушённому Вакеру подняться и стукнул повторно – правда, уже вполсилы.

Следовало ожидать продолжения – и Юрий стал униженно извиняться, после чего дружба возобновилась: перейдя в стадию своеобразной закоренелости.

Положению Житорова он завидовал «опосредованно и условно». Юрия прельщало прилюдное сияние писательской роли, а Марат, при всём его значении и влиянии, сверкать на публике не мог. Но хотел бы, ибо, с таким сомнением, вероятно ли – не желать всеобщего поклонения?

И он в угаре голодающего тщеславия силится вознести как можно выше свой транспарантик «Я служу!» – безудержно ретиво размахивая топором.

Вакер в то время, в 1936-м, не знал всех интимных особенностей, расчётов, тёмных ходов сталинского творчества и полагал, что железная метла метёт не вовсе безвинных. Сажают и расстреливают, рисовалось ему, трепачей, разносящих слухи «с душком», рассказчиков анекдотов, прочую подобную «массовку», которой – как он себе объяснял – «в качестве предупреждения»

ющего примера и из потребности серьёзного стиля» пришивают обвинения в контрреволюционных заговорах и даже в терроризме.

Но и здесь немыслимо без «рамок», которые, подозревал Юрий, Марат испытывает на прочность, самоупоённо позволяя себе то, что запрещено.

21

«Запрещено ездить в обе столицы!..» – Прокл Петрович хмыкал, стараясь обмануть себя, что случившееся «смешно, ибо карикатурно-дико!», однако настроение держалось скверноватое. Хотелось скорее рассказать о происшедшем Калинчину, дабы друг убедился: ходатай сделал всё возможное. «Но когда за Белосельских-Белозерских встают горой Траубенберги, встают «фоны», можно утешаться лишь мудростью вопроса: кому на Руси жить хорошо?». Слова эти так и засели в голове Байбарина – началом взволнованного рассуждения.

Из Москвы он отправил Калинчину телеграмму, уведомляя о часе приезда в Оренбург. По пути выходил на станциях за газетами – чтобы с недобрым, щемящим удовлетворением находить в них немецкие фамилии. Хорунжий сейчас походил на героя тургеневского романа «Новь» Маркелова, который, подав в отставку по неприятности с командиром немцем, возненавидел немцев, «особенно русских немцев» (за что, напомним, был наказан: страстно любившая им девушка «изменила ему самым бесцеремонным образом и вышла за адъютанта – тоже из немцев»).

Проклу Петровичу вспомнился в новом, резком освещении эпизод, относящийся к его отрочеству в Риге. Отец рассказал, как расспрашивал помещика-немца о передовом, о наиболее полезном в хозяйстве, и того заняла причина столь горячего интереса. «Надо перенести это в Россию», – объяснил отец, на что немец ответил назидательно: «Только пусто тратить время с русским работником. Ему надо обещать водку, показать водку и следить, чтобы сделал работу хорошо. Тогда дать водку. Ничего другое не поможет».

Память сохранила и другие блёстки сего рода откровений. В пору службы привелось увидеть генерал-губернатора Туркестана фон Кауфмана. Тот держал себя царьком, его падкость на внешние почести порождала шутки, узнав о которых, фон Кауфман сказал: «Всё такое необходимо, чтобы туземцы тебя слушались. Я это очень хорошо знаю по России».

Прокл Петрович кипел негодованием из-за того, что и генерал-губернатор и помещик-немец не постеснялись высказать свои суждения не кому-то, а самим русским. Зная меж тем, что жена Калинчина – немка, урождённая Ярлинг, – хорунжий положил себе при встрече с другом сдерживаться и избегать выпадов в адрес немцев.

Михаил Артемьевич ожидал в здании вокзала, и, хотя телеграммой он был поставлен в известность о фиаско, мрачно-нервный вид ходатая возбудил в доброй душе порыв сострадания. Как обычно бывает в подобных случаях, явилась попытка «скрасить момент».

– В буфете есть свежее Калинкинское пиво! – объявил Калинчин после приветствий и объятий. – Да и перекусить необходимо – я не обедал.

– Обедайте, а я посижу да порасскажу, – отвечал Байбарин, – аппетита никакого.

– Ну что вы, – удручённо уговаривал приятель, – хотя бы супчику консомэ...

Прокл Петрович, однако, отказался от консомэ и уступил лишь в вопросе пива. Калинчин заказал, для «подогрева» жажды, солёную брынзу с поджаренными круто посоленными сухариками в тёртом чесноке. А друг уже начал рассказывать – в живых подробностях передал, как с ним обошлись в Петербурге.

Михаил Артемьевич про себя пожалел, что согласился на его поездку; каких неприятностей теперь ждать?

– Называется: взыскали справедливости... – недовольно сказал он.

Прокл Петрович уловил его настроение и почувствовал себя задетым.

– Зато убедились – *какая персона* оберегает лихоимцев в России и... чьими руками, – заключил он многозначительно. Полагая, что приятель отнёс последнее вообще к жандармам и полиции, и помня, вместе с тем, данный себе давеча зарок, хорунжий нашёл выход:

– Можно назвать не одного честного немца, принёсшего пользу России, – сделал он оговорку. Затем, после заминки, сказал напряжённо: – Но фон Траубенберги предпочли призвание надсмотрщиков и составляют особо отличающийся легион!

Калинчин подумал, как оно не ново: ругать немцев, будучи оскорблённым жандармом-немцем. Друг верно понял его молчание:

– А я докажу, что не наговариваю. В девятьсот втором в Вильно была попытка Первомайской демонстрации. Губернатор фон Валь блеснул: приказал всех демонстрантов, а большинство их были студенты, перехватать и выпороть!

Михаил Артемьевич, наслышанный об экзекуции, заметил хмурясь:

– Прискорбно...

К сообщённому хорунжим о фон Вале (3) стоит добавить кое-что. Сечь политических заключённых уже было не принято, но фон Валь распорядился подвергать их порке в тюрьме Вильно. Нововведения губернатора снискали признание. Николай Второй назначил его товарищем (замом) министра внутренних дел и командиром Отдельного корпуса жандармов. Министр фон Плеве и его заместитель вполне подходили друг другу. Весной 1902 фон Плеве приказал «прекратить поголовной поркой» вызванные голодом крестьянские волнения в Полтавской и Харьковской губерниях. Отряды жандармов, полиции, казаков вступали в сёла и секли голодающих.

Прокл Петрович напомнил о факте, получившем довольно широкую огласку. Толпа голодных устремилась в Карловку, имение герцога Мекленбург-Стрелицкого, и растаскала из хранилищ картофель. Власти потребовали возратить всё до последней картофелины, но волнения продолжались. Тогда против безоружных крестьян были высланы три батальона, которые открыли огонь, несколько человек уложив наповал, а других ранив.

– Меня восхитил тон газеты, – усмехнулся Байбарин, – как она славил заботу государя о собственности подданных! Правительство возместило герцогу Мекленбург-Стрелицкому все убытки, это ли, дескать, не пример? А ведь и вправду пример что ни на есть!

Калинчин учтиво безмолствовал, и хорунжий заговорил о еврейском погроме в Кишинёве в 1903-м.

– Осатанелые толпы вламывались в домишки еврейской бедноты и убивали всех, кто попал под руку. Грудных детей ударяли головой об угол печи. Погром длился и длился, ширился, а губернатор Раабен пальцем не шевельнул, чтобы остановить его. Жандармы, полиция, войска не собирались мешать избиению евреев. Говорят, сам Плеве и был вдохновителем резни.

Михаил Артемьевич вставил:

– Но это только слухи...

Тема ему не нравилась, и Байбарин был бы и рад оставить её: но как молчать о том, чему он уже нашёл название *рокового исторического явления*?

– Заботливость о немцах, увы, – не слух. Им есть отчего возгордиться. Кто тут и там на видных местах? Мы с вами читаем газеты: кто в канун войны – русский посланник в Токио? Барон фон Розен. В ближайшем к Порт-Артуру китайском городе Чифу находится консульство России – кто консул? Тидеман. Да и сам министр иностранных дел – граф Ламздорф, – Прокл Петрович, сдерживая горячность, выпил пива. – Морской министр, извольте любить и жаловать, – Фёдор Карлович Авелан. Тихоокеанской эскадрой в начале войны командует адмирал Старк...

– Он из шведов, – заметил Калинчин.

– И это многое меняет? Его, скажете, сменил русак Макаров. Ну да, пробыл в должности пять недель, погиб – и всё вернулось на круги своя. Во главе эскадры – адмирал Витгефт.

Позволим себе забежать вперёд. Когда Витгефта убьёт японский снаряд, командование кораблями в Порт-Артуре перейдёт к Роберту Николаевичу Вирену. Тралением, очисткой

от мин рейдов Порт-Артура будет руководить Рейценштейн, в начале войны командовавший отрядом крейсеров во Владивостоке. После того как японцы сокрушат флот, в его восстановлении отличится барон Эссен.

В сухопутных войсках подобных случаев навряд ли меньше. Например, 2-й Маньчжурской армией сначала командовал Гриппенберг, которого заменили бароном Каульбарсом. Отход армии после Мукденского сражения в феврале 1905 прикрывала дивизия под началом генерал-лейтенанта Гершельмана. Каульбарса на посту командующего армией сменит барон Бильдерлинг. Военным министром в то время пребывает Редигер.

Русские войска защищаются в осаждённом Порт-Артуре. Командует Стессель. На самой важной позиции под названием Высокая Гора обороной руководит генерал Ирман. Когда гарнизон будет всё-таки вынужден капитулировать, хлопоты по сдаче возложат на генерала Фока. Через несколько лет отношения с Японией потеплеют, японцы воздвигнут памятник защитникам Порт-Артура – на открытие прибудет русский генерал Гернгрос.

Год 1914, начало Первой мировой войны. Из шестнадцати командующих русскими армиями семеро носят немецкие фамилии и один – голландскую. Одни только прибалтийские немцы составляли тогда четверть русского офицерства.

* * *

Приятели заказали ещё пива, и Михаил Артемьевич, воспользовавшись краткой паузой, перевёл разговор на вопросы сельского хозяйства. Неподалёку от его имения раскинулась заболоченная низина: на её кислой почве произрастали только резучие травы, несъедобные для лошадей. Калинчин посоветовал хуторянам, владельцам участка, засеять его травой, которая повытянет кислоту из почвы, – и вот в нынешнем году с угодья были получены превосходные корма...

Михаил Артемьевич проводил друга до гостиницы, где тот намеревался переночевать и наутро выехать к себе в Изобильную. Прощаясь с Калинчиным и помня высказанное о немцах, хорунжий не без смущения попросил передать «наисердечный поклон Паулине Евгеньевне». Та с улыбкой поправляла, когда её называли «Полиной».

22

По станице распространилось смущение: «Хорунжего в Питере отклонили!» Кто говорил: когда он уезжал туда, дорогу ему перебежал заяц. Уж куда как несчастная примета! Другие толковали: «Чай, не Божий ангел – царю в окошко влететь. Как ни бился – не допустили. А родня князя и все друзья налегли гуртом. Обидели». Никто не мог измыслить, что сам царь «внахалку» выгордил князя Белосельского-Белозерского.

К хорунжему пришли уважаемые казаки – с водкой.

– Мы нынче, Петрович, не за делом, а по-душевному. С утра Зиновий-синичник на дворе: синичкин праздник! Запоматовал?

Считалось: в этот день ноября слетаются к жилью из леса синицы, щеглы, снегири, свиристели и прочие птицы-зимнички. Байбарин принял от Панкрата Нюшина большой короб с вырезанными из липы птичьими кормушками: подвешивать их на деревья в саду.

С радушной возбуждённостью начав застолье, Прокл Петрович вдруг в гвездащем самодстве сказал:

– Наделала синица славы, а моря не зажгла.

Стало слышно, как дышат степенно задумавшиеся станичники, оставив на некоторое время выпивку и кушанья. Владелец двухсот голов скота, обычно нелюдимый, даже к близкой родне чёрствый Никодим Лукахин обиженно, словно за себя вступаясь, воскликнул:

– Ну-ну! Не с корову синица, да голосок востёр!

Общество за столом одобрило, и перед хозяином развили убеждение: его голос есть местное достояние подороже коровьих стад.

В стаканы журчала смирновка, челюсти перемалывали тушёную воловью грудинку и сладкую жареную поросятину. Прокл Петрович не урезал себя и, когда пел со всеми казачьи песни, ощущал действительную растроганность, а не самопринуждение к ней.

Поздно вечером проводив народ, который из-за гололёда двигался бережно (то и дело кто-нибудь остерегал: «А здесь, гляди, ужас как скользко!»), он встал у ворот на улице. Справа и слева блестел, уплывая в полутьму, лёгший на землю смугло-серебристый слой. Луна бесконечно высоко над обрывками туч то ли стояла, то ли неслась в надменной небрежности.

Прокл Петрович, памятью увлечённый в Библию, отдался сентиментальным наитиям: к нему, обиженному высокой гордящейся волей, привело людей прочное чувство, и чувство это – та самая Любовь, которая пребудет вовеки. На миг показалось даже, что, может, царь и правительство на то и господствуют спесиво, дабы их заботами росла Любовь.

* * *

Около двух месяцев спустя узналось о побоище, учинённом перед Зимним дворцом 9 января. Прокл Петрович как раз разбирал российскую историю, словно ревизор – бухгалтерские отчёты. Когда-то, живя холостым, он предавался чтению: романы о благородстве, о страданиях, переносимых стоически, о бунтах против невзрачной повседневности повергали его в своего рода опьянение, когда в груди струнила то ли болезненная, то ли сладкая судорога. Позже всевластие крестьянских забот отняло эти часы. Но по мере того как хозяйство делалось доходнее и стало возможным привлекать больше наёмных работников, появлялось и время для полузабытых интересов.

Умственные поиски Прокла Петровича получили характер усиленно упрямого правдолюбия. Он со стыдливо-иронической гордостью представлял прадеда, чей образ запечатлело семейное предание. То был яицкий казак, который родился в год Пугачёвского восстания, не

ел ни мяса, ни рыбы, не пил ничего, кроме воды, временами носил власяницу, вериги и проповедовал по родне и соседям о некоем «Воинстве Правды и Благодати». Не исключено, что доля его тоскующей крови в жилах хорунжего и побуждала того к незаурядному.

А как иначе назвать бремя, что взял на себя Прокл Петрович, устремившись путём познания? Он разглядел в отечественной истории плутовски замалчиваемый обман.

23

Сходя по шиплющему морозу к заутрене, он приказал запрягать, запахнул на себе поверх полушубка тулуп до пят и повалился в сани. Полозья полосовали в степи нежный пух снегов – Байбарин нёсся к другу Калинчину; хороня лицо в лохматый воротник, видел плотные серые, приобелённые поверху островки рощ, что, казалось, тихо плыли по сахарному полю.

Невдалеке из-за заснеженной скирды взмыл степной орёл холзан, в какие-то мгновения поднялся далеко ввысь; теперь он виделся кратенькой чёрточкой – и, однако же, величественно парил в молочной стуже неба.

Перед закатом на северо-западе, на фоне перистых облачков по горизонту, разгляделись текущие столбцы дымков. Имение Калинчина звало блаженством тепла и обжитости.

Михаил Артемьевич выбежал к саням, хрустко топча затверделый снег дорогами ботинками.

– Имею известия из невесёлых... – начал он со странным удовлетворением и пояснил: – Я о войне. Лихоимство, воровство начальников – страшнее всякого кошмара! Поставляют в войска столько гнилой солонины и прочего гнилья, что с мукой, заражённой куколем, – обошлось!

«Для вас», – подумал хорунжий и хмыкнул.

– В лазареты валом валят солдаты: не до разбора, от чего болеют, – Калинчин энергично распахнул перед другом дверь зала.

К гостю направилась, встав с кресла, Паулина Евгеньевна, тщательная в уходе за собой женщина с озабоченным взглядом и приветливой улыбкой на губах. Прокл Петрович, негодующий на немцев, втайне сконфузился и с особенной любезностью поцеловал у хозяйки руку. В своё время муж передал ей о «настроении» Байбарина – она вздохнула, но затем сказала, вопреки ожиданиям супруга, без зла:

– И правда должно быть обидно. Начальник немец любит усердных, способных, а такими часто оказываются немцы – вот он им и поручает важное.

Так, её кузен успешно продвигался по службе в министерстве финансов при Витте, а когда министром стал Плеске – опять же был повышен в должности. Племянник удачно начал службу на поприще народного просвещения – министр Зенгер уже доверил ему не одно серьёзное поручение.

Паулина Евгеньевна, обратившись к гостю:

– Каков холод в поле, а? – произнесла это лукаво-довольно, будто сама и насылала морозы.

Хорунжий ответил в тон ей:

– Тем приятнее ступить под ваш кров!

Хозяин провёл его в райски натопленный кабинет, обставленный мебелью розового дерева. Прокл Петрович заговорил о «вандализме власти в Петербурге» – стрельбе залпами по мирной демонстрации. Калинчин вполне согласился с ним, осуждая злодейство.

– Задержу ваше внимание... – хорунжий понизил голос, хотя они были одни, – помните наш прошлый разговор о призвании «фон-фонов»? Так вот: во главе столичной полиции, при побоище, – фон дер Лауниц. А кто градоначальник Петербурга? Фуллон!

Михаил Артемьевич, который и сам уже подумывал о распространённости немцев, сказал:

– Злые служаки. Но – служаки! Этого не опровергнуть.

– И пытаться не стоит! – отозвался Байбарин. – Только и увидим лишний раз: ретивцы что ни на есть! При выступлении декабристов в 1825-м, когда полки стояли на площади и не желали Николаю Первому присягать, – генерал-квартирмейстер граф Толь приказал Сухоза-

нету подкатить пушки и картечью по бессловесной скотинке, картечью! На юге выступили – и там в подавлении отличился Карл Толь.

– Но один из пяти повешенных, Пестель, тоже был немец, – возразил Михаил Артемьевич, присаживаясь за стол, на котором поблескивал старый, елизаветинских времён, письменный прибор из малахита и серебра.

– Я вам о Пестеле-папаше скажу! – хорунжий сел на кушетку. – Герцен у нас запрещён, но я постарался добыть. В «Былом и думах» есть замечательное местечко о Пестеле, коего Александр Первый поставил генерал-губернатором Иркутским, Tobольским и Томским. Огромный край скоро превратился в сатрапию – да сатрапа такого яростного ещё поискать! Пестель завёл здесь повсеместный открытый грабёж. Бросал в тюрьму даже купцов первой гильдии, держал их по году в цепях, пытал – пока не заплатят требуемое. Везде у него были глаза и уши. Ни одно письмо не уходило без проверки за границы края. И уж горе тому, кто осмелился написать что-то о порядках.

Калинчин заметил:

– Но ведь по матери и сам Герцен – немец.

– Он чувствовал себя русским, и его труды это доказывают! – решительно сказал Прокл Петрович. – Он повидал, послушал немцев и за границей. Они там не стесняются говорить, как они понимают своё положение в России. Герцен приводит слова из статьи их учёного. Тот утверждает, что Россия – один грубый материал, дикий и неустроенный, чьи сила, слава, красота оттого только и происходят, что германский гений ей придал свой образ и подобие. (4)

Утверждение немца обидело Михаила Артемьевича. Он сказал сдержанно:

– Написать всё можно – чего только бумага не стерпит!

Лицо Байбарина приняло выражение суровой собранности.

– Пишут и правду. Я их Брокгауза почитываю – со словарём, конечно... – видя, что заинтересовал друга, хорунжий произнёс: – Читаю, перечитываю одно прелюбопытное место и совершенно-таки уясняю, почему у нас так хорошо немцам. Говорить, будто карьеру им обеспечивают их способности, – значит, самих себя водить за нос. Верховная власть столь к ним лицеприятна по причине, о которой у Грибоедова сказано: *«Как станешь представлять к крестнишку ли, к местечку, ну как не порадеть родному человечку!..»*

Преподнеся цитату из «Горя от ума», Прокл Петрович призвал Калинчина «взяться за факт». В 1730 году умер царь Пётр Второй – последний мужчина из Романовых. (5) Потом правили женщины; правила Елизавета, дочь Петра Первого. (6) Она не произвела на свет продолжателей рода. Кому же она завещает престол? Одному из германских государей. Его зовут Карл Петер Ульрих фон Гольштейн-Готторп. Он родился от эрцгерцога Карла Фридриха фон Гольштейн-Готторпа и его жены Анны, которая, как и Елизавета, была дочерью Петра Первого. Её выдали замуж в германскую землю, она перешла в лютеранство, стала эрцгерцогиней фон Гольштейн-Готторп и, родив мужу наследника, через три месяца умерла. Отец умер, когда молодому человеку было одиннадцать: он занял голштинский престол. И вот того, кто третий год являлся эрцгерцогом Гольштейна и остался им, Елизавета определила в российские императоры.

В том, что пересказал Прокл Петрович, недостаёт подробности, о которой он не мог знать. Анна была помолвлена с Карлом Фридрихом в ноябре 1724, незадолго до смерти императора Петра Первого. В заключённом тогда брачном договоре Анна Петровна вместе с женихом под присягой отказывалась от всяких притязаний на российский престол – за себя и своё потомство. (7)

Байбарин тоном наболевшей, страстно продуманной темы рассуждал о том, что стало для него таким открытием, – о подлоге:

– Не форменный ли подлог, что Карла Петера Ульриха фон Гольштейн-Готторпа преподнесли россиянам как Романова? Какой же он Романов, когда и его мать уже была не Романова?

Извольте слушаться и почитать нового русского царя Петра Фёдоровича! Даже его отца Карла Фридриха не оставили в покое в родовом склепе – окрестили покойника Фёдором.

Байбарин ждал, что скажет его слушатель. Тот собирался с мыслями: «Надо будет у историков посмотреть. Если всё впрямь так...» Решив пока следовать намечающейся линии, проговорил:

– Но такое... э-ээ...

– Надувательство! – подсказал гость.

– Предположим, надувательство – как его оправдывают?

– Никак! Потомков Карла Петера Ульриха – то бишь Петра Третьего – и урождённой принцессы Софии Фредерики Августы фон Ангальт-Цербст называют Романовыми: вот и весь сказ.

Калинчин, не веря, что дело и впрямь столь нахальное, почувствовал любопытство к истории, в которой был не силён. Впрочем, кое-какие вещи он знал: например, то, что София Фредерика Августа стала Екатериной Второй.

– Что она немка, известно всем, – говорил гость. – Ну, а Пётр Фёдорович? Его мать Анна и та была русской лишь наполовину.

Михаил Артемьевич остановил:

– Не будем носиться с кровью. От сего исходит, знаете, запахок...

– Никакого запахка нам не нужно! – гость из-за живости настроения встал. – Мы лишь сделаем пометку: Пётр Гольштейн-Готторп, на четверть русский, и истая немка, кстати, его троюродная сестра София Фредерика, то бишь Екатерина произвели на свет Павла, коего ни один немец не мог бы не признать немцем. Эта кровь в дальнейшем сливалась опять же с германской, главным образом, кровью, но никогда – с русской! Опережаю ваши возражения! – Байбарин напомнил, что сам заявлял о признании факта: были и есть немцы, чьи заслуги перед Россией неоспоримы. – Однако заслуги перед нею и перед самозваной династией – вещи разные! Скажите, – обращался он к Калинчину, – как помог прогрессу господин Штюмер своей ревизией Тверского земства?

Прокл Петрович имел в виду событие, относящееся к 1903 году и отражённое в тогдашних газетах. Верховная власть, полагая, что ученикам полезнее то образование, которое дают церковноприходские школы, предпочитала их земским. Новоторжское уездное земство Тверской губернии, руководимое людьми раблепными, выказало свою верноподданность – выступив за передачу земских школ в ведение Святейшего Синода. Этим возмутилось губернское земство, которое холуйством не отличалось, и, поскольку школы переходили к Синоду, заморозило свои кредиты на них.

Тогда вмешался самодержец Николай Второй. По его Высочайшему повелению Тверское губернское земство ревизовал Штюмер, помощник уже упоминавшегося фон Плеве. Члены земской управы были устранены от должностей, которые заняли люди, угодные власти. Кроме того, Штюмер выслал из губернии «вредно влияющих лиц».

Первыми с публичным одобрением принятых мер выступили Нижегородский губернатор Унтербергер и предводитель нижегородского губернского дворянства Нейдгарт...

Монарх, со своей стороны, оценил заслугу Штюмера, назначив его членом Государственного совета по департаменту законов. Впоследствии царь сделает этого человека председателем Совета министров – по этому поводу французский посол в России Палеолог напишет, что Штюмер «ума небольшого; мелочен; души низкой; честности подозрительной; никакого государственного опыта и делового размаха. В то же время с хитрецей и умеет льстить». (8)

Мы по необходимости несколько отвлеклись, меж тем как Михаил Артемьевич, человек либеральных взглядов, высказывался за земские школы и за то, что земствам должно быть предоставлено больше прав. Что до Штюмера, то о нём он слышал от своего родственника,

проживающего в Ярославской губернии. В бытность Ярославским губернатором Штюмер обнаружил нечистую любовь к презренному металлу.

Байбарин, поспешно кивнув, сказал:

– Назовите наугад любую нашу губернию – и почти наверняка губернатор окажется немцем! Вы только представьте, – сказал он настойчиво-просительно, – а что если при таких делах не являлось бы тайной: с 1761 года, с Петра Третьего, **(9)** Россией правят самодержцы Гольштейн-Готторпы? Что мы имели бы? Вдумайтесь!

Было видно, что Михаил Артемьевич вдумывается. Гость нетерпеливо продолжил:

– Если бы в войну с Наполеоном, в другие войны общество, народ знали, что слова: «За веру, царя и отечество!» – означают: «За Гольштейн-Готторпа и его вотчину»? **(10)**

24

В комнате, освещённой люстрами с восковыми свечами, беседовали два человека. Один расположился в кресле, другой устроился за изящным письменным столом. Жаром прожорливых печей перенасыщало вместительный крепкий дом, а кругом него воздух был выстужен до мёртвого каления, вширь и вдаль отсвечивали под строгой луной снега, над ними курилась сухая морозная дымка, и оставленный зайцем помёт через минуту превращался в россыпь твердейшей гальки. Поглядеть оттуда, из глухой январской степи, на горящие окна усадьбы, и пронижет чувство уверенной, сгущённой жизни, что господствует среди отчуждённости темноты и непереносимого холода.

Калинчин, размышляя, проговорил:

– Но терпели же Екатерину Вторую – зная, что немка.

Замечание, по-видимому, только обрадовало собеседника:

– А вы учтите – как щедро она задаривала знать! И вообще всё дворянство какими одарила привилегиями! Эти люди быстро увидели, насколько им стало благоприятнее при ней. Немаловажно и то, что она оказалась одарённым правителем, и ей сопутствовал успех во внешней политике. Но в стране, тем не менее, разбушевлась Пугачёвская война, трон под Екатериной зашатался. Помимо других причин, народ подхлестывало на войну то, что царица – немка. Недаром Емельян противопоставился ей в роли *русского государя Петра Фёдоровича*, – последние слова Байбарина окрасила горькая ирония. – Если бы народ, – вырвалась у него вся пронзительность сожаления, – если бы народ знал, что действительный «Пётр Фёдорович» плохо говорил по-русски, что его папаша «Фёдор» был на самом деле Карл Фридрих...

За зашторенным окном тихо запел ветер, он наращивал силу и разыгрывался по равнине, вылизывая промёрзшие плотные снега, жемчужно-серые и мерцающие в темноте. Калинчин, подойдя к окну, отвёл портьеру в сторону.

– Побегу «снежных растений», – так он выразился об узорах на стекле, – пошли вверх. Значит, морозы продлятся.

Прокл Петрович, будто они говорили о морозах, продолжил тоном подтверждения:

– Конечно!.. Потомки Екатерины не были умелыми правителями. Их неудач страна не простила бы Гольштейн-Готторпам. Следовали бы войны, подобные Пугачёвской, и...

Калинчин вернулся к письменному столу, имея такое выражение, словно для того, чтобы сесть за него, требовалась особенная осторожность:

– Но ведь это же сплошь ушибы! К нашему времени не осталось бы ничего... – он указал рукой вправо, а другой – влево.

– Что я и хотел до вас довести! – гость повторил его жест: – Великой державы с её неизбежностью от Балтики до Тихого океана, с бескрайним разлётом на север и на юг – не было бы! В её нынешнем виде и внутреннем состоянии, – уточнил он со сварливой твёрдостью. – Ибо она почти полтора века держится на пошлом обмане! Народу непристойно втирают очки, будто управляют им русские Романовы.

Михаил Артемьевич прищурился, глядя на малахитовый письменный прибор, и с многозначительностью сказал:

– Картина, однако-с!.. – затем сосредоточенно взял со стола колокольчик. – Что же я... пора и закусить перед ужином...

Слуга средних лет, держащийся очень прямо, принёс пузатый графинчик водки, солёные помидоры, грузди, сельдяные молоки со свеженарезанным луком, политые лимонным соком и обильно поперчённые.

Приятели пропустили по рюмке, и, когда остались одни, Прокл Петрович, высосав налитой ядрёный помидор, сказал:

– Всё совершенно логично! Самодержец держится на обмане, и потому меня, приехавшего с жалобой на обман, прогнали и унизили.

– М-мм... – Калинин помотал головой. – Слишком упрощаете. Это называется вульгаризация.

– Отчего же вульгаризация? – Байбарин, на минуту отрешившись, полужакрыв глаза, высосал второй помидор. – Глядите в корень! Гольштейн-Готторпы знают, что распоряжаются страной, а правильное – владеют вотчиной, – используя чужую фамилию. Знают, что если это откроется народу, он будет не особенно доволен.

Так как же, при таком важном, страшно важном обстоятельстве, они могут считать народ своим, испытывать к нему участие? В тесные черепа этих не блещущих способностями ограниченных немцев вместились Белосельские-Белозерские с их понятными аппетитами, но ни за что не вместится образ народа-исполина. Для них это неинтересная тьма-тьмушая безгласных, что существует, дабы приносить доход и, по приказу, превращаться в послушные полки.

С точки зрения Гольштейн-Готторпов, – вывел хорунжий, – было бы бестактно, некрасиво и, кроме того, даже опасно вступать между Белосельскими-Белозерскими и русской чернью, на которую те, в силу происхождения, имеют гораздо больше прав.

Михаил Артемьевич встрепенулся, будто желая заспорить, после чего внимательно взглянул на рюмку... Заев водку груздем, хрустнувшим на зубах, он поддел вилкой и отправил в рот сельдяную молоку. Ему было хорошо, и он дружелюбно кивал, слушая гостя.

– В Петербурге, – передавал тот, – мне рассказали, как во дворец приходит караул – оберегать ночной покой государя императора, – и начальнику караула, офицеру-гвардейцу, приносят ужин из царской кухни. Он на глазах солдат ест с серебра французские тонкие кушанья, а солдаты ждут, когда им приволокут из их казармы котёл с кашей. – Прокл Петрович убеждённо выделил: – *Это очень по-немецки!* Я рос в Лифляндии – так там управляющий барона-немца, оказавшись на мельнице или у овина, где застало его время обеда, принимался за каплуна, а батраки-латыши смотрели и ели горох.

Калинин сказал с горячностью, как бы оправдываясь:

– Когда мне доводится есть с работниками – мы едим одно и то же! Правда, не каплунов, но и не один горох или картошку. Густые мясные щи – ложка стоит! – и...

– Разве я этого не знаю? – мягко прервал, улыбаясь, Байбарин. – Я говорю о том, что Гольштейн-Готторпы – не только по крови немцы, но и по усвоенным понятиям. Если вы скажете им, что они презирают простого русского солдата, они вас не поймут. По их представлениям, солдат должен получать достаточно простой питательной пищи. Зариться на то, что ест господин офицер?... Ну не может же лошадь, жуя овёс, зариться на салат, который станет при ней есть хозяин? А если всё же позарится, то с этой лошадью явно что-то не то...

Байбарин сжал кулак и трижды размеренно взмахнул им в воздухе:

– Я не хочу сказать, что русские цари отнеслись бы к караулу благороднее. Они послали бы солдатам обеды – но со своего стола! И это было бы ближе русскому сердцу.

Вошедшая Паулина Евгеньевна пригласила в столовую ужинать. Дети, дочь-подросток и два сына не старше десяти, пожелали взрослым аппетита, учтиво поклонились.

– В кровати, в кровати! – поторопил их Михаил Артемьевич, похлопывая в ладоши.

За столом, посмотрев на жену тем взглядом, каким смотрят при уверенности, что тебя вполне поймут, он сказал гостю: давеча-де говорили, как кое-кто любит выслужиться... А вот отец Паулины Евгеньевны – его предки приехали при Екатерине Второй – за чинами не гонится. Управляет конным заводом в Астраханской губернии, разводит верховых лошадей, что хороши и в упряжке.

– Полезная деятельность! – отозвался хорунжий и спросил: – А губернатор там кто?

Паулина Евгеньевна ответила:

– Все эти годы был Газенкамф. Недавно его за отличия перевели в Петербург. (11)

Проклу Петровичу показалось, что его вид – причина возникшего неловкого молчания, – и он сказал:

– Из немцев, которые управляли нашим краем, граф Эссен оставил по себе неплохую память. Открыл Неплюевское училище, а в Уфе – первую гимназию. Безак заботился об условиях в гарнизонах. Но то, как он провёл размежевание башкирских земель...

По тону хозяин предугадал, что положительная оценка себя исчерпала, и подумав – а почему бы Траубенбергу не расплатиться за всё? – решил отвести удар от Безака:

– Тот жандармский офицер, до чего возмутительно он обращался... – произнёс Калинин мрачно.

Гость, в ком мгновенно ожили воспоминания, собрал все черты лица к глазам:

– С каким высокомерием, с гадливостью он мне задал вопрос: «Байбарин Прокл, сын Петров?»

Обращаясь к Паулине Евгеньевне, хорунжий втянулся в рассказ о том, как был изгнан из Петербурга.

Хозяин, выпивая и поощряя к тому гостя, вставлял – «к сведению», – что приобрёл в рассрочку локомобиль, купил племенных баранов... Глянцевитые щёки его покраснелись – «хоть прикуривай!» Шея над белоснежным воротничком приняла лиловый оттенок. После очередной стопки его лицо вдруг стало сумрачно-вдохновенным:

– Йе-э-эх-хх, собрал бы я по нашим степям полчища ребятушек – и, с боями, туда, на этих Голыштейн-Го... Го... и прочих Белосельских-Белозерских со всеми их Траубергами!.. – он скрежетнул зубами и занялся паштетом из телячьей печени.

25

В январе-феврале 1918 полчища ребятушек вовсю топали по степи. Усадьбу Калинчина заняла «красно-пролетарская дружина», чистопородные быки, племенные бараны были зарезаны и, при помощи крепких пролетарских челюстей, спроважены в дальний путь. Локомобиль ребятушки разобрали до винтика, мелкие части ухитрились кому-то сбыть, а громоздкие не привлекли ничьего интереса и вращались в землю.

Михаил Артемьевич поехал в Оренбург с жалобой и с просьбой к новой власти «сохранить остатки хозяйства для народных нужд». Он изъявлял согласие «при гарантии приличного жалования служить управляющим общественного имени».

Удалось пробиться к Житору. Зиновий Силыч был в хлопотах: каждую минуту в городе ожидалось восстание скрывающихся офицеров и «сочувствующих», отчего в деловом вихре торопливости тюрьму наполняли заложниками. Калинчин был свезён туда прямым из приёмной Житора. На ту пору восстание не состоялось – однако больше половины заложников (бывших офицеров, чиновников, лавочников) всё равно расстреляли. Михаилу Артемьевичу выпала пощада.

Когда до обжившихся в его поместье ребятушек дошла весть о гибели житоровского отряда, хозяина, со связанными за спиной руками, прислонили к стене мельничного элеватора и пересекли туловище пополам очередью из пулемёта.

* * *

Теми апрельскими днями давний приятель Калинчина с женой и работником Стёпой, основательно помыкавшись, прибыл в станицу Кардаиловскую, где разместились делегаты съезда объединённых станиц, поднявшихся против коммунистов. Командующим всеми повстанческими отрядами избрали войскового старшину Красноярцева, и он со своим штабом стоял тут же.

Улицы большой богатой станицы стали тесны от телег всевозможного люда, боящегося большевицкой длани. В налитых колдобинах разжигался навоз, и месиво бесперебойно хлюпало под копытами лошадей: верховые преобладали числом над пешеходами. Весенние запахи подавил аромат шинельной прели, дёгтя и конского пота. В какой двор ни сунься – всюду набито битком.

Зажиточный столяр в светло-коричневом байковом пальто, владелец нескольких домов, повёл Прокла Петровича к разлившемуся Уралу. Дубы богатырской толщины стояли по грудь в говорливо бегущей воде, по зеленовато-синей шире скользили, дотаивая, льдины. Столяр указал рукой:

– Гляди-ка!

Разливом подтопило сарай, пустой курятник, вода подкрадывалась к крытому тёсом домику в два окна. Из воды торчал почерневший от сырости куст крыжовника, поднимались верхушки многолетних растений. Бросался в глаза яркий янтарь расцветшего желтоголовника – сам он залит, а цветок так и горит над водой.

– Жить надо – живи, – как бы неохотно снизошёл хозяин к приезжему и загнул такую цену, что тот минуты три молчал, а потом повернулся грудью к раздолью разлива и крикнул изменённым высоким голосом:

– Ге-ге-э-ээй!!!

Вдали отозвалось смятым гамом: в воздух всполошённо поднялись стаи уток и гусей.

Столяр, по-видимому, не нашёл странным то, что человек, узнав о сумме, вдруг испытал свои голосовые связки.

– Дак даёте деньги? Коли зальёт – без отдачи!

Перед хорунжим проглянула неизбежность: либо ночевать с Варварой Тихоновной под небесным сводом, либо, скорчившись, под пологом таратайки. Он мысленно сказал: «Господи, Твоя воля!» – и, ощутило облегчив кошель, снял домишко на неделю.

Раздобыв шест, доставал им из воды дрова, что выплывали из затопленного сарая. Перед тем как разгореться в печи, они несговорчиво шипели и исходили паром.

Ночью прибывающая вода перелилась через порог. Хорунжий нашёл на чердаке и перетаскал в домик обрезки горбылей, чтобы положить их на пол, когда его зальёт...

В эти дни распродал имущество: оказался хороший спрос на скот, особенно на лошадей. С работником рассчитался в такой для себя убыток, что Стёпа задумчиво спрашивал свою душу: есть зацепка для обиды? неуж нет?..

* * *

Хорунжий ходил в довольно просторный, но требующий ремонта дом с обшарпанными дверями: его приспособили под офицерское собрание. Здесь, главным образом, ели и выпивали, чья-нибудь рука оголтело разгоняла неисчезающие клубы табачного дыма; непрестанно сшибались громкие голоса. Среди офицеров было немало недавних студентов, учителей, служащих статистических управлений: кто причислял себя к эсерам, кто – к народным социалистам, к меньшевикам, кто – к «вообще либералам». Между ними бурлили дискуссии, но противники непременно объединялись, лишь стоило разыграть споры с кадровыми офицерами – традиционно монархистами.

Прокл Петрович склонился над тарелкой с тощей котлетой и не сразу перенёс внимание на скромно подошедшего к столу прапорщика.

– Прошу прощения... – сказал этот юноша с возбуждённо-серьёзным мелких черт лицом, с мягкими усиками.

Байбарин узнал сына своего друга. Антон Калинчин с началом германской войны поступил в юнкерское училище; пройдя ускоренный курс, провёл почти год на фронте. Он не сразу ответил на вопрос о домашних, и Прокл Петрович помрачнел в догадке.

Молодой Калинчин рассказал о смерти отца: передали знакомые. У Байбарина душа не лежала к дежурным словам соболезнования – пауза наполнилась неловкостью, тяготила.

Наконец прапорщик сказал:

– Тут столько разговоров – у вас в Изобильной казаки красных перебили? Тысячный отряд Житора?.. И будто схватили самого?

– Отряд не тысячный. А этого взяли! – подтвердил хорунжий.

Глаза у молодого Калинчина остро блеснули восхищением.

– Так вы... участвовали?! Наши офицеры ужасно нервничают: правда про отряд или нет? Я вас познакомлю! Они представят вас атаману...

Минут через пять за столом Прокла Петровича уже сидели, помимо Антона, ротмистр-улан – длинный, сухощавый, но с круглыми сочными щеками эпикурейца, – есаул, чьё худое вытянутое лицо роднило его с шукой, и сотник – мужиковатый, с заснувшим в глазах выражением скупой улыбки.

Байбарина терзали вопросами: в чём состоял, кем был выношен боевой план?.. Он опасался предстать хвастливым и слышал:

– Ну хочется же знать!

26

– Я хочу знать! – приветствовал Марат приятеля, войдя в полуподвал, в котором тот изнывал больше часа. – Зачем ты рыскал *там*?

Вакер изобразил раскаянное стеснение:

– Пошёл просто так за стариком... ну, который у вас кормится. А он приплёлся на *то самое кладбище*... Откуда я мог знать?

Он показал прокушенную овчаркой полу реглана:

– Твои спустили на меня озверелых псов. Впору с жизнью прощаться...

Дверь в смежное помещение была открыта, там слышали беседу, и Житоров кивком приказал гостю выйти во двор. Сейчас здесь было пусто.

– Врёшь-врёшь-врёшь про дедуху! – стремглав выметнул Марат злым шёпотом. – Старик – прикрытие! О моей *работе* вынюхиваешь?

Юрий про себя вознегодовал: «Ни хрена не доверяет!» Обида невзначай натолкнулась на мысль, что Житоров пока не давал повода считать его неумным.

– Посуди сам, – голосом и лицом Юрий выразил боль от душевной раны, – как я, нездешний, мог догадаться, куда старик тащится?

– На калитке была надпись «Вход воспрещён»?

Друг глядел с наглой наивностью:

– Но дед-то прошёл...

– Ты надеялся на незарытые трупы полюбоваться? А может, думал – мы там приводим в исполнение и тебе повезёт увидеть?

Юрий, не имевший ничего против такой удачи, запротестовал:

– Ты что – меня не знаешь?! В вашем аппарате не работаю – так уж и дурак?

– Не вилай! У тебя нечистое любопытство к... – Марат вдруг забылся, на лице блуждала отвлечённо-неясная улыбка, – к *работе со смертью*... – закончил он.

«*Работе со смертью*», – повторилось в мозгу гостя.

– Кому-у? – внезапно озверел Житоров. – Мне не хочешь признаться? У-уу, говнюк!

Вакер почувствовал, что приятель перехлестнул и не только можно, но необходимо «взорваться».

– Как власть преображает человека! – горестно съязвил он, поморщился и добавил дрожливо-оскорблённо: – Ты сам – то, чем меня назвал.

Друг между тем думал: «Что если Юрка (кто его знает?) окажется даровитым романистом?»

Житоров сейчас жаждал двух достижений: заполучить убийц отца и увидеть изданный в Москве объёмистый роман о нём.

– Не цепляйся к словам, – сказал мирно, но не без строгости. – Ты полез туда, несмотря на надпись, потому что знал: я тебя вытащу. Ты не ошибся. Но в нашей работе есть этика! – произнёс он с ударением. – Столичный хлыщ козыряет знакомством: вот как ты выглядишь. Нехорошо – спекулировать именем начальника.

Гость удручённо согласился, думая: приятель мало что выжал из очной ставки двух бывших дутовцев, и оттого он в скверном настроении.

Воспалённо-дикуватые налитые кровью глаза начальника излучали сухой блеск.

– Чем тебе дедуха zenки мозолит? Уходишь от романа, распыляешь внимание...

Юрий возразил, убеждая: в книге может «сыграть» любая мелочь, привлёкшая творческое любопытство, какая-нибудь «случайность» будет в ткани вещи вовсе не случайностью, а... Он оборвал рассуждение, заметив, что Марат уже не слушает, и спросил как бы сам себя:

– Почему его к вам в здание пускают? Ага – сторож. Но почему сторожем взяли такого старого, дряхлого?

Житоров наградил себя, задавшись вопросом, полным презрения: «Если б твоего отца убили, мог ли бы ты питаться идеей отмщения?! Твоя стезя – мелочи вынюхивать, немощных отслеживать. Несчастный чуть живой старик и тот не даёт покоя!»

– Время идёт, я – на работе! – напомнив это приятелю, проводил его до ворот и пообещал навестить вечером в гостинице.

По пути в неё Вакер размышлял: Марат чересчур эмоционален для его должности. Он слишком много пламени расходует на историю отца: то есть на семейное, личное дело. Дед – шишка: внучок и выступает эдаким смелым спесивцем. Опять же растили революционеры: было от кого поднасытиться властолюбием.

27

А Юрия воспитывали во всепоглощающей любви к труду и к честному заработку. Он помнит ослепительный, щемящий сердце праздник: папа и мама подарили полусапожки телячьей кожи. Они пахли едко, кисловато – этот запах чарующе ударил в голову мальчика.

В полусапожках полагалось ходить только на занятия (он занимался в начальном училище) и в кирху. Родители Юрия, немцы Поволжья, исповедовали лютерано-евангелическую веру, и, пробудившись, а также перед сном сын читал наизусть: «Ich bin klein, mein Herz ist rein», «Wen ich liebe? – fragst Du mich. – Meine Eltern liebe ich...» («Я мал, моё сердце чисто», «Кого я люблю? – спрашиваешь Ты меня. – Моих родителей люблю я...»)

Семья жила в Покровской слободе, что располагалась на левом берегу Волги напротив Саратова. Вакеры имели домик с огородом, садом и коровником. В воскресные дни Юрий обувал старые грубые башмаки, что в своё время перейдут к младшему брату, и помогал матери везти на базар тележку с молочными продуктами. Родившаяся на Волге мать изъяснялась по-русски коверканно:

– Фкюсный слифки, сфежий сметана! Ошень дешёфый!

Приятной внешности мальчик в заботливо заштопанных носках, в опрятном костюмчике с заплатками на локтях и на коленях жгуче стеснялся выговора матери и своего облачения, которым он был обязан неукоснительно повторяемой дома мудрости: «Разумная скупость – не глупость!»

В каникулы Юрий отправлялся в Саратов и подрабатывал, продавая на улицах газеты. Любопытство подбивало заглядывать в них. Кражи, побег из тюрьмы, поджог, приткнувшийся к свае причала утопленник – всё это выпестывало изумлённое влечение к кругу тех, кто пишет о таких тёмных, мрачно-щекочущих случаях...

Страшась её хрупкости, он прятал от всех мечту стать газетным репортёром. Украдкой на клочках бумаги, сожалея, что этого не случилось действительно, писал: «Сообщение в газету. Дворник Клим застал свою жену с каким-то человеком. Человек быстро одевался, а дворник ругал его и бил, человек дрался тоже. Когда он убежал, Клим зарезал свою жену ножом. Пока больше ничего неизвестно».

Юрий изощрял хитрость, терзаясь – куда прятать «сообщения»? И выискал место: взобравшись по лестнице к крыше, засовывал клочки под черепицу с краю.

Теперь под этой крышей проживает младший брат со своей многодетной семьёй, а отец и мать занимают особнячок поодаль от главной улицы Энгельса (так ныне зовётся город, что ранее был Покровской слободой).

Отец, в прошлом фельдшер, по-русски говорил почти чисто. Осенью 1918 его мобилизовали в Красную Армию, но на фронт он не попал – служил в саратовском госпитале. Приезжая домой, плавно спускал со спины на пол мешок с прибережённым пайковым продовольствием, мыл руки и лицо над лоханью – мать понемногу подливала ему на ладони тёплую воду из кувшина. Он садился за стол, и в его движениях, во всём облике объёмистого в торсе мужчины с крепкой куцеватой шеей, с педантично подровненными «проволочными» усами, так и сквозило внутреннее равновесие.

– Шнапс! – произнёс он однажды слово, которого никогда не произносил за столом, ибо существовали известные дни, в какие подавалось спиртное.

Мать, чьё замкнутое лицо оживлял всегдашний суровый огонёк в глазах, помешкала, затем нехотя направилась в другую комнату, но возвратилась уже привычно скорым шагом – с аптекарской флажкой самогонки.

Отец, заботливо-внимательный, каким выглядел нечасто, молчал; перед ним оказалась тарелка гречневой каши. Протомившись со вчерашнего вечера в истопленной печи, она стала

рассыпчатой и малиновой. Он налил себе гранёный стаканчик и, подняв его в крупной короткопалой красноватой руке, сказал с напряжённым восхищением:

– Эта власть нам много лучше, чем были! Я хочу выпить на здоровье Ленина! – он неторопливо, как что-то приятное, вытянул самогонку, так же неспешно съел свежепросоленный огурец и поведал: несколько дней назад, 19 октября 1918 года, Ленин и советское правительство даровали немцам Поволжья автономию.

До этого семью трепали треволнения. Увязнув в войне с Германией, Николай Второй, прячущийся под русской фамилией, всё явственнее видел над собой и своим семейством дамоклов меч. Кровавая неудачная война закономерно выливалась в рост ненависти ко всему немецкому, а государство не могло не подливать масла в огонь – поощряя массы к продолжению бойни. Состояние умов стало донельзя податливым к воздействию противонемецких разоблачений – того самого жареного, что теперь делало газету газетой. Писали, например, что «свои» немцы устраиваются трубочистами, проникают через дымоходы в учреждения и, пользуясь знанием русского языка, подслушивают военные тайны. В Прибалтике бароны с башен своих замков подают сигналы германскому флоту. Рассказывали, будто один барон устроил пир для германских лётчиков, а на прощание подарил им корову, которую те погрузили в самолёт.

О подогреве настроений заботилась Государственная Дума. Речи депутатов изобиловали прозрачными намёками на то, что германские шпионы будто бы не лишены высочайшего покровительства. Общество зачитывалось ходившим в списках памфлетом Амфитеатрова «о похоти царицы-немки» и «о германском владычестве». Жадно подхватывался слух о секретном проводе, которым императрица и её немецкая камарилья будто бы связаны с Берлином. Кипение страстей порождало поступки, прямо-таки удивительные. Один из министров со всей серьёзностью обращал внимание начальника Охранного отделения на то, что по Невскому проспекту якобы разливают как ни в чём не бывало два адъютанта кайзера. (12)

Мудрено не вообразить, какой отклик нашла бы в стране уже не выдумка, а легко доказываемая истина: что там царица, когда сам царь – не кто иной, как укравший русскую фамилию фон Гольштейн-Готторп? Народ ударился бы в сабантуй, сравнительно с которым немецкий погром в Москве 27 мая 1915 показался бы мелким хулиганством. (13) Самодержцу оставалось одно: выказывать себя русаком-патриотом высшей пробы.

В Действующей армии насчитывалось триста тысяч российских немцев, повод обвинить их в ненадёжности отсутствовал, и царь не мог позволить себе то, что впоследствии проделает Сталин, обративший солдат в подконвойную рабочую силу. Монарх удовлетворялся жертвенными коровами, которых предостаточно имел в тылу. Немцам воспретили собираться в количестве более трёх. В публичных местах нельзя стало говорить по-немецки. Священный Синод объявил рождественские ёлки немецким обычаем, и на них пал запрет. Пал он и на проповеди в кирхах на немецком языке, и на музыку германских композиторов, включая Баха и Бетховена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.